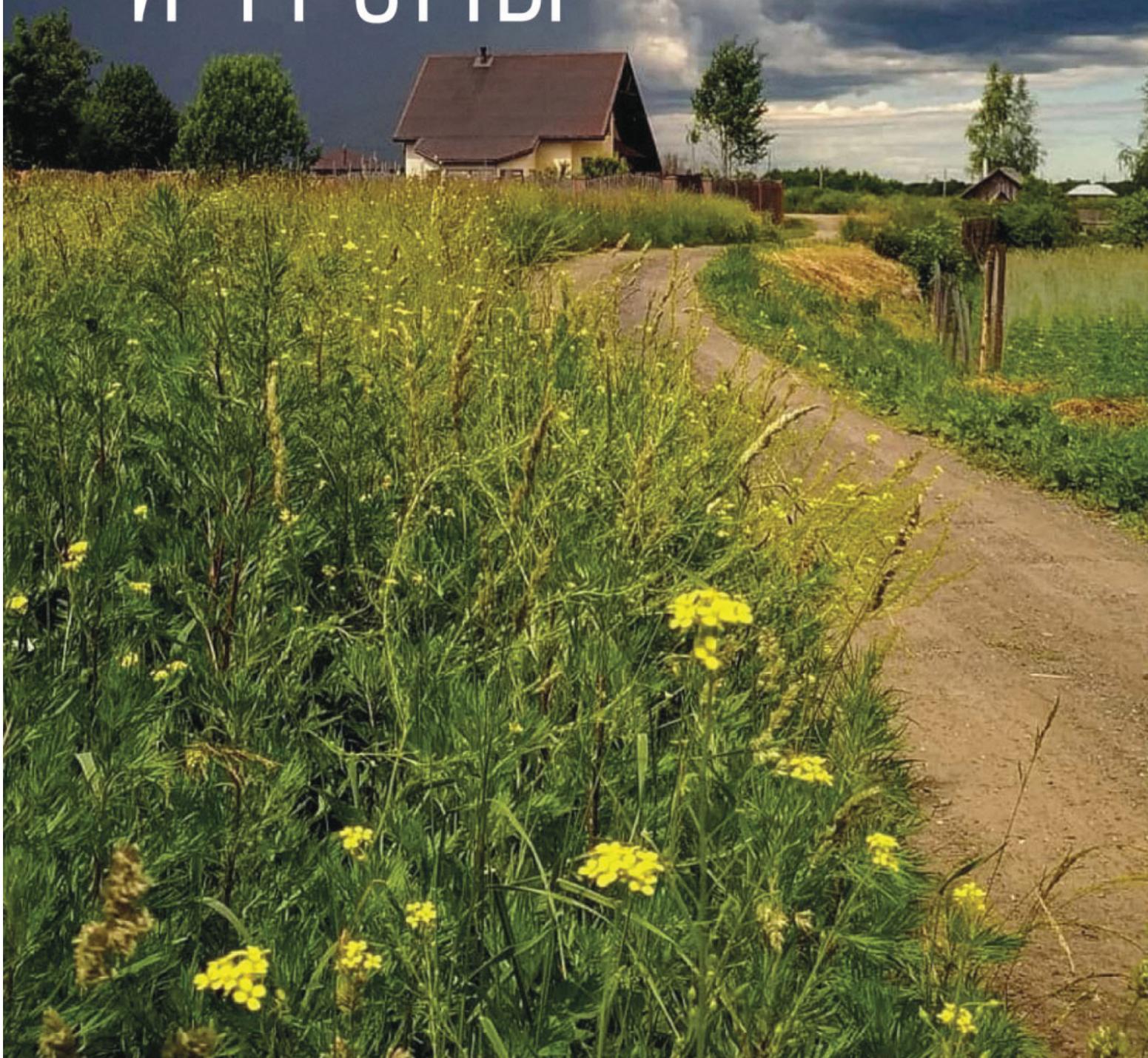


ВЛАДИМИР
АРРО

ШОРОХИ И ГРОМЫ



Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Владимир Арро
Шорохи и громы

«Алетейя»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Арро В. К.

Шорохи и громы / В. К. Арро — «Алетейя», 2021 — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-00-165202-1

Перед тобой, дорогой читатель, 150 историй, встреч, приключений, пережитых мною вместе со страной, моим городом и моим поколением. А по сути дела – с самим собой. Может быть, они напомнят тебе и твой собственный жизненный опыт. Мы бываем к нему снисходительны или слишком строги. И только с годами догадываемся: это подарок и единственный ответ на него – благодарность. Что тебе подарила судьба – череду испытаний, серые будни или вечный праздник – решай сам. А эта книга пусть будет для тебя побуждением.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00-165202-1

© Арро В. К., 2021
© Алетейя, 2021

Содержание

Материя жизни	7
Порги и Бесс	7
Картина мира	8
Бумажная страсть	9
Петергофские самоцветы	10
Музыка	11
По первому зову	12
Псковский дворик	14
В плацкартном вагоне	15
Икра	16
На реке Оять	17
Миссионер	18
Руки брадобрея	21
Права человека	22
Певцы	23
Недоверчивый дядя	24
Коля-герой	25
На Урал, за сюжетами	26
Пицца наша	28
Частица черта	29
Тесто	30
Пишмаш	31
Пожар	32
Любовь к поездам	33
Теоретик здоровья	35
Оренбургский платок	36
Грустный Алик	37
Кривой маршрут	38
Минералы Урала	40
Путь наверх	42
Утро на базе	44
Путь вниз	45
Дятел	46
Товарищи офицеры	47
Голоса	48
Ядерный удар	49
Разлучница	50
Старая Юрмала	51
Чрезвычайный Ташкент	52
Хлебушкина, которая им хлеба дала	54
Ключи от Ташкента	56
Восток	58
Страсть	59
У шлагбаума	60
Глубинный народ	61
Жажда	62

Прерванный полёт	63
Дача на Оредежи	64
Грузия цвета хаки	66
Пир	68
Палата	69
Праздник, который...	71
Ахалтекинцы	72
Субординация	73
Плывем по реке	74
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Владимир Арро

Шорохи и громы

© В. К. Арро, 2021

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021

* * *

Дорогой читатель!

Перед тобой 150 историй, встреч, приключений, пережитых мною вместе со страной, моим городом и моим поколением. А по сути дела – с самим собой. Может быть, они напомнят тебе и твой собственный жизненный опыт. Мы бываем к нему снисходительны или слишком строги. И только с годами догадываемся: это подарок и единственный ответ на него – благодарность. Что тебе подарила судьба – череду испытаний, серые будни или вечный праздник – решай сам. А эта книга пусть будет для тебя побуждением.

Материя жизни

Порги и Бесс

В Ленинграде что было хорошо – ночь езды и ты в другом мире. Не-ет, в том же государстве со всеми его аббревиатурами и символами, но только тускло мерцающими грязноватыми пятнами из какой-то непохожей жизни, вовсе другой.

В советском Тарту было две гостиницы – одна возле автобусной станции, устроенная по всем правилам социалистического общежития и общепита, а другая на холме, в глубине парка, оставшаяся с буржуазных времен, где ты с первых минут чувствовал себя в заграничной провинции: уединенность, уют, медные ручки, за окном вековые деревья. Она так и называлась – „Парк“. Я любил – войти и сразу включить радио и услышать нерусскую речь или вместо бодрых песен – джазовые мелодии. В одной из комнат первого этажа размещалось небольшое кафе, в котором с ранних утренних сумерек ты мог получить не только душистый кофе и свежие булочки, но и коньяк. Может быть, это было единственное место в городе, позволявшее себе эту богемную вольность, потому что каждый раз я заставлял там какую-нибудь художественного вида компанию, явно приبلудную, со следами ночного кутежа на лицах, пробудившуюся от короткого сна и входившую, надо думать, во второй день загула. Вот и мы начали свой праздничный день с рюмки коньяка под яичницу-глазунью, такую же приветливую, как и женщина, которая нам ее принесла. Как мало нам тогда надо было, чтобы почувствовать себя людьми: душистый кофе, улыбка, чистая скатерть.

А можно было и так: вечером сесть в поезд до Таллина (тогда еще с одним «н»), день провести в свое удовольствие, а закончить его в Оперном театре на премьере впервые поставленной в СССР оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс». Поднимите-ка руки, кто в 1966-м слушал Георга Отса, измазанного сажей с головы до ног, как он, изображая безногого негра, боролся с английским произношением? Но вокальную партию-то он вёл прекрасно. На обратном пути, лежа на верхней полке, еле-еле уснул под колыбельную Клары – „Summertime“. А потом всю жизнь напевал её, как, впрочем, и другие мелодии любимого композитора Гершвина. Пою до сих пор.

Так что эта вполне доступная жизнь была не «заграницей» вовсе, а просто «за гранью».

Картина мира

Вот, говорят, ограждала нас советская власть от всего иностранного, так что мы и знать ничего не знали, что делается на Западе.

А как же финские сани, американские горы, английская соль и булавки, французские булочки и борьба? Голландский сыр, швейцарские часы, капли датского короля, аргентинское танго, гавайская гитара, канадский хоккей, венские стулья, исландская сельдь? Кто ж не знал сицилийской мафии, неаполитанского пения, танца «венгерки», пилотки «испанки», польского полонеза, китайских фонариков и бенгальских огней?

Вот такая была перед нами картина мира. От нас не утаишь!

А персидским порошком не пробовали?

Бумажная страсть

Почему из всех детских радостей – сладостей, игрушек, зрелищ и развлечений – настоящую остроту наслаждения приносила одна: обладание переплетенной в книжечку или в блокнот бумагой? Почему так волновала первая страница – чистая, пахнущая свежестью, полная надежд и возможностей, умом еще не осознаваемых? Едва заводилась копейка (таскал у отца), бежал в канцелярский магазин возле кино „Баррикада“, в тот, где юный Владимир Набоков присмотрел себе гигантский карандаш и затем получил его. С безнадежным вожделением, сопя носом, елозил вдоль прилавков, разглядывая сокровища, а потом покупал в газетном киоске какой-нибудь блокнотик из серой бумаги и на том успокаивался на время. Всё это предвещало рождение графомана.

Странная история произошла со мной на этой почве во время блокады. Однажды весной 42-го я возвращался из школы домой, и у наших ворот мне повстречалась женщина. Она поинтересовалась, есть ли у меня тетради для школьных занятий и прочие канцелярские принадлежности. Я ответил, что нет. Тогда она пригласила меня к себе, через уличную парадную, ту, что слева от ворот. В таких квартирах я еще не бывал. В полутемных комнатах с бархатными портьерами сверкали люстры, стояла старинная мебель красного дерева, шкафы, набитые книгами, огромный письменный стол под зеленым сукном, с бронзовыми украшениями. Вот к этому столу и подвела меня женщина и, указав на целую стопку переплетенных тетрадей, блокнотов, альбомов, сказала: «– Выбери». Я выбрал большой настольный блокнот в толстом коленкоровом переплете с лоснящейся плотной бумагой. «– Хорошо, – сказала женщина. – Это называется бювар. Но завтра из школы ты принесешь мне свою порцию хлеба, хорошо? Я буду тебя встречать».

Что и говорить, на завтра я съел свой школьный паек, как всегда, в один присест, и крошек не осталось. Только потом я вспомнил про долг, но раскаяния не испытал, а лишь страх. На мое счастье женщины у ворот не было. И в другие дни не хватало сил отказаться от своего куска хлеба: будь что будет! Я готов был вернуть бювар, но женщины у ворот больше не встречал.

История с бюваром имела вполне литературное продолжение. В июле, когда мы с мамой и теткой ехали в теплушке на восток, я познакомился с дистрофиком, вроде меня, но постарше года на два. У него умирала мать. Она лежала на первом ярусе нар почти всегда в забытьи, и лишь иногда, приходя в себя, принималась неожиданно энергично уверять всех вокруг, что она не умрет, что у нее есть с собой хлеб и лук, что она, пусть никто не сомневается, выживет. Это было голодное помешательство. На эвакуопунктах, имевшихся на каждой крупной станции, нас кормили. Мальчик вместе с нами ходил за едой и кормил мать. Но она все-таки умерла. Несколько спутников подняли ее за руки и за ноги, раскачали и выбросили под откос...

Мальчик сидел в углу, не шевелясь. Пошептавшись с мамой, я подсел к нему и отдал свое сокровище. Вскоре мы высадились в Свердловске, а он с чужими людьми поехал дальше, на Алтай.

До сих пор хорошую бумагу жалею, испытываю к ней почтение. Писать могу лишь на той, что похуже.

Петергофские самоцветы

Всё мечтал о камнях, страстью к которым проникся еще на Урале, в эвакуации. Они там были всюду, даже в корнях упавших деревьев. А тут познакомили меня со знаменитым геологом Ларисой Анатольевной Попугаевой.

Спросил у неё, куда бы поехать, порыться в старых старательских копиях в поисках – да не драгоценных!.. каких-нибудь самоцветных камней. Нашел, у кого спрашивать. Попугаева открыла якутскую алмазную трубку, была всюду прославлена и увековечена, а я был... кем я тогда был? Школьным учителем? Начинаящим литератором? Но Попугаева усмехнулась и сказала:

– Да всё понятно. Не надо далеко. Поезжайте в Петергоф. Есть у вас записная книжка?

Ну, как не быть. Я протянул книжку, и через минуту Попугаева вернула мне её с нарисованным планом.

В один из осенних пасмурных дней трамваем доехал до Стрельны, пересел на автобус и через двадцать минут был в Старом Петергофе. Следуя плану, направился в сторону залива и по межам картофельных „соток“, мимо ярких полуосыпавшихся кустов вышел к низкому берегу. Свинцовое небо стелилось над водой. Тут, на пустыре, среди каких-то руин и черной пылины рылись в глинистом грунте мужчина и женщина. Мое появление их не обрадовало, но я все же задержался возле нарытых ими сокровищ, выложенных на бумаге.

Боже, чего там только не было! Яшмы, агаты, халцедоны, нефриты, кварц, орлец, лазурит, малахит! Это были изломанные, пиленые, шлифованные образцы. Когда-то они лежали здесь же, на стеллажах Петергофской гранильной фабрики, откуда их не разметала бомба войны. Теперь, извлеченные из земли, омытые морозящим дождиком, они разноцветно горели.

Мои восторженные возгласы немного смягчили добытчиков, и они показали мне, где поискать халцедон, где кварц, а где попадаются и нефриты. Жар кладоискателей ударил мне в голову, я достал из рюкзака маленькую лопатку и ушел в забытье.

Очнулся я уже в сумерках. Весь вымокший, шел, пошатываясь к вокзалу, за моей спиной грузно висел рюкзак с самоцветными камнями. А в кармане рука нащупывала острый осколок – настоящий „тигровый глаз“, очень редкий камень. От Попугаевой.

Музыка

Я один в квартире. Видимо, высиживаю карантин после какой-то болезни. По краю тишины пульсирует музыка. Я рисую цветными карандашами. Они крошатся, их приходится то и дело совать в точилку. Из черной тарелки доносится печальное инструментальное трио. Музыка постепенно меня завораживает, я даже пытаюсь в такт ей покачивать карандашом. И вдруг чувствую, как грудь теснит какая-то истома, и, чтобы дать ей выход, приходится часто сглатывать. Еще немного и я уже не владею собой, губы и подбородок меня не слушаются. Чтобы победить музыку, я прикладываю ладони к ушам, но она уже во мне, – в горле, в груди, в диафрагме – я опускаю руки и даю волю слезам. Они приносят облегчение и незнакомую сладость. Позже, в другие дни, я буду ждать, чтобы это повторилось. И – повторяется...

По первому зову

Получение первой в жизни крохотной квартирki в «доме с грифонами» на углу улиц Куйбышева и Чапаева, пробудило в нас с женой самую жгучую в молодости потребность: общаться с друзьями. Жажда общения была так велика, что мы поначалу собирали у себя самую разношерстную компанию, по десять гостей кряду, нimalo не заботясь, будет ли им интересно друг с другом. Бывало, за одним столом сходились и мои школьные друзья Лёня и Эдик, и молодой писатель Валерий Попов с женой Нонной, и доцент из Герценовского Володя Альфонсов, и Гена Моченков с Алешей Изюмовым. Музыкальным фоном, на котором проходили эти праздники (как, впрочем, и будни), были песни Пита Сигера и Джоан Байес, или негритянские «спиричуэлс», или симфо-джаз Рея Кониффа. Туристская и прочая самодеятельная песня в доме не прижилась, ценилась музыка, а не текст. Особо тешилось моё тщеславие, когда мой новый друг, гитарист Гена Моченков, брал свою шестиструнку и самозабвенно играл Баха и Генделя. Заводилой и провокатором интеллектуальных бесед был второй новый друг, язвительно-ироничный Алеша Изюмов.

Вообще проблема друзей занимала тогда в моей жизни непомерно большое место, более, чем семья. Я мечтал о мужском братстве, где все приходили бы друг к другу на выручку, не считаясь ни с чем, по первому зову, где женщина одного была бы святыней для другого, где друзья всегда правы и пользуются неограниченным кредитом доверия. Всё шло, конечно, от «трех товарищей» Ремарка. На это накладывался мой собственный романтический максимализм, и подобная этика дружеских отношений для меня действительна по настоящее время. Может быть, именно из-за этого я остался к старости почти без друзей.

Появление в моей жизни новых персонажей – Алеши Изюмова и Гены Моченкова – всколыхнуло надежду на святой мужской союз, и я отдался ей со всем жаром. Впрочем, союз так и продолжал жить в моем воображении – это были не слишком совместимые друг с другом люди.

Изюмов был порывист, многоречив, ироничен. Его манеру поведения, способ мыслить и выражать мысль вслух, едва заметно окрашивала болезнь. Речь его всегда образная, страстная, порою, правда, теряющая ясность, увлекала и завораживала меня, увязшего в трясине канцелярита. (Я работал тогда директором вечерней школы). В ее потоке можно было уловить немало свежих, нестандартных, а то и крамольных идей, но, в общем, это было словоизвержение душевно нездорового человека. Болен он был и физически. Когда-то, в минуту совсем уж нестерпимого разлада с жизнью, он выстрелил в себя из охотничьего ружья. Его спасли, но удалили несколько ребер. Он жил на инвалидную пенсию, иногда прирабатывал.

Мать его, или, как он говорил, «маменька» была удивительным существом. Она никогда нигде не работала и вечно была в долгах. Полдня она полеживала в постели с каким-нибудь увлекательным чтением, вставая затем только, чтобы выпить кофе и «закусить», а к вечеру, оживленная, молодящаяся, начинала собираться и прихорашиваться, чтобы идти в Выборгский дом культуры, в театральную студию. Что-то она там играла. У нее было еще двое детей – сын и дочь, все от разных мужей, уже послевоенных. Она мечтала, чтобы дочь ее поступила в оперетту, и похвалялась гостям: «– У нее замечательно «каскад» получается! Неля, покажи «каскад»!» Но дочь стеснялась.

Алеша добродушно посмеивался, трогательно заботился о «маменьке», давал ей деньги для уплаты долгов, но она их тут же тратила. Иногда, правда, она спохватывалась – каялась, плакала, развивала бурную деятельность по хозяйству. Но потом снова затихала в своей спальне с романом. Жили они в заводском деревянном доме неподалеку от Арсенальной набережной, занимали второй этаж. Готовили на керогазе, топили дровами. Здесь Алексей с «маменькой» пережили и блокаду. По-моему, быт их с тех времен мало изменился, разве что с голоду не помирали.

Мне хотелось сделать для него что-нибудь, что облегчило бы ему жизнь. Я познакомил его со своим приятелем Николаем Лянцбергом, главным врачом детского санатория в поселке Колчаново, и тот взял его на несколько месяцев к себе, оформив на какую-то должность. Давал я ему и деньги, когда они были. А когда не было, в лепешку разбивался, чтобы достать. Свой первый серьезный литературный гонорар за рассказы в альманахе «Молодой Ленинград» я поделил с друзьями.

«– Подождите, – говорил Изюмов, – я вас еще буду кормить черной икрой и поить коньяком в «Европейской». И как ни странно, свое обещание сдержал. Вскоре он поступил на философский факультет Университета, на вечернее отделение. Вскружил голову одной студентке моложе себя лет на десять и сделал ей предложение. Она его приняла. Родители этой милой и скромной девушки жили в Мурманске. Узнав о помолвке, они приехали. При виде жениха, долговязого, со впалой грудью и болезненно нервным лицом, они слегка приуныли. Но познакомившись со всей нашей компанией, пришли в себя и свадьбу сыграли с северным размахом – в ресторане «Крыша», что в «Европейской» гостинице. Были и коньяк, и икра.

Скромный, застенчивый Гена Моченков терялся в присутствии Изюмова, совсем ступевывался. Между ними было сказано едва ли несколько слов. Они уживались лишь у меня в душе. Но когда Геннадий брал гитару и играл почти весь классический гитарный репертуар, Алексей покорно смолкал и внимал с удивлением вместе со всеми. Геннадий был музыкант-самородок. Ничего он специального не заканчивал, шел в музыке, как и вообще в жизни, по наитию (какой-то заезжий итальянец поставил ему руку), карьеры принципиально не делал, был до крайности неприхотлив и нелюдим. Это меня в нем пленяло, но и вызывало протест, легкое раздражение. «– Что же ты делаешь, – выговаривал я ему, – тебе от Бога дан талант, надо сделать усилие, пойти на конкурс, нельзя же всю жизнь сидеть в яме». Он играл в оркестре БДТ, кстати, в одно время со скрипачом Юрием Темиркановым.

Впрочем, знатоки и коллеги его ценили, устраивали ему записи на радио, они и сейчас иногда звучат. Театральные оркестранты вслед за Геннадием приходили пораньше, чтобы в пустом театре поиграть для себя. Через усилитель Бах и Гендель звучали, как в церкви. Солировал Геннадий.

Усилия он так и не сделал. Это понятие не входило в его философию жизни. У него был паралич воли, человекобоязнь и неодолимая тяга к вольному созерцанию. Его любимым занятием было сидеть у себя на Лиговке у топящейся печки и смотреть на огонь. Или бродяжить вдали от людей. Одно время мы встречались чуть ли не ежедневно, вместе путешествовали. Жил он с матерью, которую называл «матушкой», и относился к ней едва ли не более заботливо, чем Алексей к своей «маменьке». Она попивала, на фабрике у нее из-за этого случались неприятности, и он ходил их улаживать.

Мои новые литературные знакомства, а затем и переезд в Купчино сделали наши встречи реже. Геннадий женился на женщине с двумя детьми и достойно отбивал натиски мужа-алкоголика. Жена работала мойщицей вагонов в трамвайном парке. Он стал больше пить, водка принесла какой-то недуг, потом инвалидность, и он расстался с гитарой. А скоро и жизнь оставила его.

Алеша же сам ушел из нее, по собственной воле. Все-таки между ними было что-то общее – оба как будто шагнули со страниц романов Достоевского. Оба из петербургских трущоб, из выродившихся семей, впавших в грех. И тот и другой опробовали на себе пределы человеческого своеволия, обоих неудержимо тянуло к краю. Внутреннее их подполье было сложнее, драматичнее, чем мне тогда представлялось.

Псковский дворик

Насмотревшись псковских музейных и архитектурных красот, зашел в первый попавшийся дворик, посидеть, отдохнуть. Старый, толстостенный дом в три этажа, мощный тополь, несколько новых посадок. Девочка лет двенадцати рядом со мной то и дело склоняется над коляской – и гугукает, и приговаривает.

– Какие сапо-ожки! Ни у кого нет таких сапожек, как у Карины. Нет-нет, ни у кого!.. Ах ты, мой маленький!..

Видно, что нянчит она с удовольствием. По двору бегают кобелек, кусает девочку за ноги, урчит. Она отбрыкивается, смеется.

– А ты все выкобеливаешься! Вот дам под жопу.

Две старухи с лавочки возле парадной позыркали на меня да отстали. Занялись своим прямым делом.

– Это кто пошел, Наташа?

– Это Ритка.

– Ритка? Какая она стала маленькая. А это зять пошел.

– Твой пришел соблазнять, мой спал еще.

– Куда ходили?

– Куда... А х... их знает. Мой спал бы еще...

На лавке рядом с ними сидит котенок. Кобелек, которого зовут Яшкой, подбежит, лапками обопрется о край скамейки – а не достать. Котенок – на дыбы.

Девочка поднимает младенца, пытается поставить его на ноги.

Старухи смотрят с неодобрением.

– Хочешь, чтоб ребёнок у тебя ходил... твою мать, чтоб бежал, все хочешь...

– Мала еще... Дай ей котенка, пусть потискает.

Я смотрю на них с почтительным вниманием чужака, ловлю каждое слово, каждую интонацию. Вот так они, наверное, и при Пушкине говорили – псковитянки. И во все прежние времена. На берестяных грамотах, что ни слово, то срамотица.

В плацкартном вагоне

Ночью на станции качаются отсветы невидимых фонарей, искрится от падающего дождя товарный вагон, мечется дым из трубы, сбивается вниз, под колеса. Хорошо на это смотреть из окна теплого вагона, который вот-вот отойдет.

Старуха, преодолев робость, вступает в беседу:

– А ты все читаешь да пишешь. Чай, всю газету прочитал? Ну и что пишут? Будет война, ай не? Вот как, гляди! А какая ж сторона там мутит? Ишь! Опять Германия. Видать, он там злой. Никак не отвяжется. Вон ручки-то у тебя тонкие да белые. А у меня два сыночка погибли, молоденькие да хорошенькие.

Девка при ней:

– Все она врет.

Икра

Провожая меня из волгоградской командировки, мой армейский друг, директор школы Володя Пашков, часа за три до поезда воскликнул:

– Да, а чего же ты семье привезешь? Ты что, без гостинца домой поедешь? Ну-ка пошли!..

Оставив рюмки недопитыми и прихватив фонарик, мы пошли по улицам и минут через десять спустились к Волге. Вдоль всего низкого берега тянулись крохотные сарайчики. На берег ложились ранние сумерки. На воде в отдалении стояло маленькое суденышко. Пашков помигал фонариком, и оно вдруг пошло к нам. О чем-то он поговорил с людьми на борту, и я увидел, как четыре руки передали ему большого осетра, метра в полтора. Он едва удержал его и плюхнул на мостки. Суденышко тотчас же отчалило.

– Ну, давай, понесли, – сказал Пашков. – Рыбоохрана выручила.

Через пять минут мы стояли в одном из сарайчиков. Я светил фонарем, Пашков вспарывал брюхо рыбины, доставал икряной мешок.

– Посвети, – сказал он, – там, на полке соль есть. Давай-ка попробуем...

Вернувшись в Ленинград, я позвал друга с женой, вывалил икру из литровой банки в тарелку. Потом положил четыре столовых ложки и сказал:

– Лопайте!

Хоть один раз в жизни каждый должен поесть икры ложкой. Поесть и забыть.

На реке Оять

О, Господи, попалась на глаза старая фотография 1955 года. Вепсы, река Оять, край непуганых птиц и зверей, где никто отродясь паровоза не видел. Я свежее испеченный учитель русской словесности, заброшенный сюда «по распределению», а мне уже доверен выпускной класс.

Вот мы в сентябре возле школы, передние сидят, задние стоят, а я, классный руководитель, разумеется, посередине. Сам-то недалеко ушел от них, ну, лет на пять или шесть. На лицах девушек печать усталости, какой-то старообразности – то ли от плохого питания и раннего физического труда, то ли как знак вырождающейся народности. Кажется, что они загодя приготовили озабоченно-недовольное выражение, с которым им, хочешь не хочешь, вскоре придется ходить в роли деревенских хозяек, окруженных детьми, птицей, скотиной, полных скорбного раздражения против пьющего мужа.

В лицах же парней яснее видны черты индивидуальности, характера и бойцовского напряжения. Им через год в армию, а оттуда всюду дороги открыты. А что, из таких же, как они, пареньков в нашем государстве получались и маршалы, и премьер-министры, и генсеки. Как они там командовали и управляли – это другой вопрос, но звания и чины носили. Мои до этих высот не доросли. Лишь один позвонит мне лет через тридцать пять и представится как первый секретарь Лодейнопольского райкома партии – Толя Белокуров, вон наверху, третий слева.

Миссионер

Окончив институт, я получил назначение в маленькую среднюю школу поселка Тервеничи, в самом что ни на есть медвежьем углу Ленинградской области. Жена перешла на заочный. Имущества у нас не было, как и жилья. В конце августа мы кое-как добрались до села и тут же были определены на второй этаж деревянного купеческого дома, в квартиру, состоящую из комнаты и кухни-столовой. Высокие потолки, три окна, плита и голландская печь – хоромы! Купец, видимо, торговал лесом, а чем же еще, леса тут простирались сплошным бесконечным массивом – приходили с юга, с Валдайской возвышенности, и исчезали в бескрайних просторах Карелии. Бывшему хозяину дома не чужды были и умственные занятия: в мезонине мы обнаружили сундук старых брошюр, журналов и книг, среди которых были собрания сочинений Кнута Гамсуна, Амфитеатрова – роскошные тома с золотым тиснением издательства Маркса. Пылились тут и комплекты журнала «Нива». Но разборку, а тем более чтение этих находок я оставил «на потом», меня ожидало занятие куда более волнующее и актуальное – подготовка первых уроков.

Осень стояла нарядная и теплая, с багрянцем приусадебных кленов, с пышными огненными гривами ближних и дальних осин, тяжелыми гроздьями рябины на фоне черно-зеленых елей. Черемуха прямо с ветвей лезла в рот. Где-то поблизости сельчане собирали бруснику и клюкву, а белые грибы, толстенькие, с матово-шоколадными спинками, сами вылезали чуть ли не прямо к крыльцу из молодой елово-березовой поросли. Я собирал их на похлебку, не заходя в лес. Будут, конечно, будут когда-нибудь в доме и кадушки с маринованными грибами, и соленья, и наливки, – уговаривал я себя, – но это потом! А пока мы украсили наш первый дом осенними букетами, и этого нам хватало.

Село лежало в безнадежной дали от всяких знаков цивилизации – шоссежных магистралей, железных дорог, высоковольтных линий. До районного центра – поселка Алеховщина, который и сам-то был захолустьем, надо было добираться 20 километров тряским автобусом или пешком. Так что многие местные жители, что называется, отроду паровоза не видели. Как это было романтично, как совпадало с моими понятиями о высокой миссии просвещения! Все объясню им, все донесу – и поэзию Блока, и 5-ю симфонию Чайковского. Вот только нужно начать хорошо, тщательно подготовиться к первым урокам.

Село наше было еще не самой большой глухоманью, от него в лесные дебри уходили разбитые дороги и тропы, по которым туземцы еще не так давно пробирались не колесами, а волокушей. Заканчивались они где-то у неведомых озер с языческими названиями – Пирозеро, Югезеро. Так назывались и лежавшие возле них селенья. Леса там, рассказывали, были полны непуганым лесным зверьем и птицей, а озера кишели рыбой. Там и жили многие из наших учеников. Коренным населением в этих краях были вепсы, финно-угорская вымирающая народность, которых и осталось-то к тому времени чуть больше десяти тысяч человек. Говорили, что живут они в своих селеньях убого и впроголодь, что в некоторых избах еще топят по-черному, что люди спиваются. Ладно, думал я, дойду и туда, во всем удостоверюсь своими глазами. Главное начать.

И вот – начало. В последний день августа внизу, на первом этаже затопали, загомонили. Это зажил своей жизнью, так называемый интернат, общежитие для самых дальних. Они приносили в котомках картошку, хлеб, сало, сами себе и готовили, а чаще ели всухомятку. В старшие классы дальние жители тогда не ходили – закон еще этого не требовал. Но один десятый класс в школе для желающих всё же был – человек на двадцать. Он и достался мне. Я стал классным руководителем и учителем литературы.

Возглавлял школу выпускник Герценовского института Лев Васильевич Успенский. Жена его, Надежда Михайловна, преподавала крестьянским детям не какой-нибудь – фран-

цузский язык. Да так, что ее за успехи отправили через несколько лет на стажировку во Францию. Вот щедрое государство было у нас: лучший учитель французского – у вепсов, в лесной глухомани!

У географа Михаила Андреевича Литвинова, местного жителя, методика была иная. Потряхивая бортами пиджака, он сообщал ученикам чисто по-чеховски: «В Африке жарко!» А поскольку был близорук, тыкал указкой куда-нибудь в Испанию. Но человек он был добрый, они с женой Марией Яковлевной держали корову, и мы у них брали молоко.

Так что учительский коллектив состоял из двух скрыто-антагонистических групп: местных и понаехавших.

В десятый класс я, пожалуй, вписался сразу. Не знаю, чем я его взял, но они внимали каждому моему слову. Как всякий жаждущий просвещать, я стремился впихнуть в них как можно больше. Скажем, если в программе стоял лишь «Обломов», то я не представлял себе, как можно пройти окончательно и на всю жизнь мимо «Обрыва», который очень любил, или «Обыкновенной истории». Бедные мои крестьянские дети принуждены были мною вникать в конфликты общества, которого уже нет и в помине. Но там были понятные всем и во все времена любовные треугольники, возвышенные страсти. Вот за этим они с замиранием сердца и следили. Но долго нам разнеживаться не пришлось: нагрянула уборка картофеля.

Колхоз наш, прямо скажем, был небогатый, на счету его в банке числилось 47 копеек, поэтому председатель Зуев спал и видел дармовую рабочую силу на колхозных полях. Если я, как молодой учитель, и заслуживал упреков старших товарищей в легкомыслии и романтизме, то, что можно было сказать о нашем почтенного возраста государстве, которое пыталось накормить страну, начисляя крестьянину 15 копеек за трудодень? Как оно рассчитывало удержать всех этих парней на государственной барщине, не обещая ничего взамен? Да еще мы, просветители, явно разлагали сознание сельского труженика, открывая перед ним многокрасочный мир, маня его соблазнами более или менее сносной городской жизни, воспалая воображение и умение размышлять, что нам предписывалось государственной же программой?

Хорошее было время: теплые сухие деньки бабьего лета, стрекот трактора и оживленные крики на поле, яркая, как театральная декорация, опушка леса! Нет, о перерыве в занятиях никто не тужил, кроме, наверное, меня, жаждавшего поскорей пересказать своим подопечным несколько романов Тургенева.

В октябре праздник осени закончился, лес обесцветился, почернел. Низкие, быстро летящие тучи без конца сочились дождем, земля размякла, так что без резиновой обуви до школы было не дойти. Задымили печные трубы, заслезились окна. В один из таких невыразительных дней пришел Лев Васильевич и спросил:

– Господа хорошие, а что вы зимой собираетесь есть?

– Есть?

– Да-да, кушать.

Честно говоря, я не ожидал такого вопроса. Ели что попадетсЯ: грибы, консервы, привезенные из Ленинграда, картошку, кашу.

– Дело, собственно, вот в чем, – продолжал директор, – зимою тут вы ничего не купите – ни макарон, ни масла. Хорошо, если хлеб будет. Мой вам совет – сделайте заготовки на зиму.

– А что мы должны заготовить?

Мы были типичные советские лопухи, просто хрестоматийные.

– Ну, картошки мы вам дадим, для интерната достаточно заложили. А вот вы сходите-ка к Зуеву и выпишите килограммов сто капусты.

– Сто?

– Да, бочки вам хватит. А еще попросите кур.

– Чего-чего?

– Кур! Курочка-ряба, знаете? Штук двадцать кур.

– А что с ними делать?

– А это потом Мария Яковлевна придет, вам расскажет.

И вот у нас в мезонине горка крепких глянцевого кочанов. И куры. Живые, что меня смутило и озадачило. Пришла учительница младших классов и сказала, что кур надо порубить, ошипать, опалить, а затем делать из них консервы – с перчиком, с лавровым листом – вот такие получатся!

К такому повороту событий я не был готов и как гуманист отложил решение проблемы на завтра. Ночью куры, как водится, спали, а спозаранку я услышал наверху шебуршание, квохтанье, какие-то скандальные вскрики и хлопанье крыльев. Я поднялся в мезонин. Куры клевали капусту. Пол, отчасти и стены были разукрашены зеленым пометом. Одна зеленая клякса почему-то оказалась на потолке.

Я спустился вниз. Было воскресенье – день проверки тетрадей, их у меня накопились кипы. Не всё еще было готово и к урокам. На душе было паршиво. Всё сводилось к простому: не хочу я курятины!.. Я стал точить нож. Первое, что надо сделать, думал я, это отобрать у них капусту. Потом чем-нибудь покормить, хоть пшенной крупой. А завтра придет кто-нибудь из местных и...

Вынося приговор курам, я не подозревал, что и моя судьба уже была решена. Я строгал кочаны острым ножом, жена укладывала капусту в ведро, посыпала солью. Мы хрустели кочержками, как вдруг вошел почтальон.

– Вот здесь распишитесь, пожалуйста, в получении.

Это был зов военной трубы...

– Так я и знал, – с досадой сказал Лев Евгеньевич. – О школе никто не думает.

Явиться предписывалось завтра, за неявку было обещано уголовное преследование. Утром автобус, как теперь часто бывало, не пришел. И я отправился месить грязь до Алеховщины. Вдоль лесных опушек стояли белые грибы, уже подмороженные.

Десятиклассники прислали мне в часть коллективное письмо, где с соблюдением всех правил орфографии и пунктуации сообщали, как меня им не хватает. Я тоже скучал. А через несколько месяцев, когда стали возможны свидания, в эстонскую Валгу, приехала жена. Нам разрешили два дня пожить в гостинице.

– Ну, как там десятый класс? – спросил я.

– Шлют привет, – сказала она. – А у меня для тебя сюрприз. – И достала из сумки куриную ножку.

Догнала меня куриная нога.

Руки брадобрея

Военная моя служба началась в эстонском городе Валга. Когда жена приехала меня навестить, мне дали на три дня увольнительную и разрешили пожить в гостинице. Там я очень скоро обнаружил, что забыл бритвенные принадлежности. Выходить в город в форме, с женой да еще небритым было небезопасно. В часть заходить не хотелось, а тут наш новый знакомый по фамилии Фридман, которому мы передавали письмо из Ленинграда, сказал:

– Хотите я вас порекомендую своему парикмахеру? Между прочим, он брил Ленина, когда оба жили в Финляндии. Правда, он предпочитает об этом не распространяться.

– Почему?

Фридман пожал плечами.

– Боится, что могут быть какие-нибудь неприятности.

Через час я сидел в кресле с салфеткой вокруг шеи, а возле меня, взбивая в чашечке пену, стоял невысокий пожилой еврей, чему-то слегка улыбаясь. Наверное, он знал, что мне доверена тайна его трудовой биографии. Теперь я понимаю, что ему было чего опасаться. Раз брил Ленина, значит, мог брить и кого-то из его окружения. А там, как выяснилось позже, было полно троцкистов и меньшевиков. Контакт. Обмен информацией, кто знает...

Между тем во время всего этого священнодействия я следил за его руками, припухлыми и анемично белыми. Было трудно поверить, что они прикасались к лицу Ильича. И когда он двумя пальцами взялся за кончик моего носа, чтобы намылить надгубье, я даже слегка вздрогнул. Каждое прикосновение его рук было поистине моей встречей с Лениным. Правда, конспиративной. Горячий компресс только добавил блаженства. Наконец он снял салфетку, промокнул мне лицо, и все так же улыбаясь, сказал:

– Вот и все, молодой человек. Теперь никакой патруль вам не страшен. Если хотите знать, в этом кресле еще не сидел ни один красноармеец.

Я не остался в долгу:

– А я еще никогда не брился у парикмахера...

Он торопливо перебил меня:

– Ах, та-ак! – Он покосился на соседнее кресло. – Никогда не брились у парикмахера? Именно это я и хотел сказать и ничуть не более. Я не собирался его выдавать.

– А кто же вас брил?

– Сам себя, безопасной бритвой.

– Ах да, конечно, я понимаю...

Много позже, когда я слушал рассказы о „встречах с Лениным“ от людей, которые видели его издалека, из толпы, я всегда вспоминал этого, наверное, единственного в стране человека, который скрывал, что он не только видел вождя, но и трогал его лицо, массировал, сжимал в руках, как, может быть, позволяли себе только Крупская или Инесса Арманд. Или другой брадобрей.

У нас с Лениным был один парикмахер?..

Права человека

Вклад мой в борьбу за права человека небольшой, но всё-таки...

Командир взвода лейтенант Карпов не переносил наших жалоб на невзгоды солдатского быта: – Вот погодите, неженки, – говорил он. – Попадете в окопы!.. – И дальше не знал, что сказать. По-моему, ему и самому в них не хотелось.

Дело было зимой. Каждое утро меня ожидала мучительная процедура. После зарядки, пробежки, нужно было идти в умывальник с ледяной водой и там, кое-как намылив кисточкой подбородок, скрести его лезвием „Нева“. От этого истязания кожа лица была в постоянном раздражении и порезах. В своих претензиях я дошел по команде до лейтенанта Карпова, и он ответил надменно-насмешливо, гордясь собою, как до него отвечали младший сержант и старшина: – А в окопы вам тоже горячую воду надо будет носить?

Тут случилась инспекторская проверка. В часть приехал начальник химических войск округа полковник Усков. Нрав у него был крутой, поступки решительные, вид молодецкий. Однажды, услышав, как за стенами учебного класса он распекает наше начальство, мы поглядели в окно, и нам открылась такая картина. Стоят три офицера во главе с нашим комбатом, а перед ними, слегка отвернувшись, но, не переставая кричать, полковник поливает газон сильной струей.

А „генерала“ ему все не присваивали. Солдаты говорили, что на кальсонах у него уже нашиты генеральские лампасы.

И я решил: будь что будет.

И вот проверяющий в сопровождении свиты медленно обходит наш строй. Останавливается возле меня, взгляд орлиный.

– Почему не побриты?

– От холодной воды раздражение, товарищ полковник.

– Пом по тылу! – гаркает он и движется дальше. – Почему у солдат нет горячей воды?

С тех пор каждое утро дежурные, обжигаясь и матерясь, разносили по умывальникам бачки с дымящимся кипятком.

Но на этом борьба за права человека для меня не закончилась. На одном из комсомольских бюро я сказал, что пора бы уже вынуть ложки из-за голенищ и сдать их в столовую, чтобы их там мыли.

– А в боевой обстановке, в окопах, кто вам будет мыть ложки? – насмешливо спросил наш лейтенант. У него было непоколебимое чувство юмора.

Все же через некоторое время ложки обобществили.

Вот такие, как я, постепенно и разрушили боеспособность Советской армии.

А про окопное житьё ветераны войны вспоминают всякое: кто сырость, кто вешние воды, кто снайперов. Но некоторые настаивают: главное – жить не давал острый запах мочи.

Певцы

Как-то в загородном рейсовом автобусе ехали люди со свадьбы и без конца пели. Ничего особенного, простейшая двухголосица. Но присоединились к ней из пассажиров два украшения: тетка-подголосок и треснутый, хриплый баспрофундо. В его немзыкальном голосе была какая-то бархатная нитка. И сразу обнаружился другой уровень пения.

Вдруг автобус застрял, все вышли, принялись выталкивать его из грязи. Ничего не вышло. Большинство пассажиров отчаялись и ушли пешком. А певцы остались с шофером. Выпили бутылку, съели по бутерброду и снова запели – нашли друг друга. Я тоже остался, хотя петь не умел, а только мычал в унисон. Так и пели, пока не пришла подмога.

Недоверчивый дядя

Когда уезжал в Череповец по делам, друг Геннадий дал мне письмо к двоюродному брату. „У них, – говорит, – свой дом, там и остановишься“. Поэтому я не стал хлопотать о гостинице, а с поезда ушел прямо в дела. К вечеру же направился по нужному адресу. Череповец в те времена был город пыльный и дымный, индустриально-социалистический, поэтому я обрадовался, когда автобус привез меня на окраину, где люди жили с огородами и садами.

Очередность реакции на мое появление была такой: сначала огромная свирепая овчарка выскочила из конуры и забилась в истерике, потом из сарайчика вышел парень и направился ко мне, а в заключение на крыльце дома появился невысокий мужчина, да так там и застыл. Парень взял письмо, распечатал и заулыбался. „– Пап, это от Генки! – сказал он ему. – Да ты проходи«. Он прикрикнул на собаку, впустил меня во двор, и, на ходу читая письмо, повел к крыльцу. Мужчина как стоял, так и не двинулся, не отрывая от меня внимательного, тронутого неопределенной улыбкой взгляда. „– Как он живет хоть там? Мало пишет... – сказал парень, закончив чтение. – В Череповец не собирается?“ „Череповец“ он произносил с ударением на втором слоге, к чему я уже за день привык. „– Ну-ка дай“, – сказал мужчина и взял письмо. Я стал рассказывать, что братан его, как и прежде, играет в театральном оркестре, иногда выступает с концертами, как вдруг мужчина, все так же недоверчиво улыбаясь, сказал: „– Нет, это не Генкин почерк“. „– Да ладно, папа, что я Генкиного почерка не знаю!.. – запротестовал парень. – Пойдемте в дом“.

Все время ужина, пока мы сидели за столом и уговаривали принесенную мною бутылку, я чувствовал на себе испытующе-недоверчивые взгляды хозяина, который будто силился кого-то во мне узнать, но так и не мог с достоверностью уложить меня в памяти. Под конец он сказал: „– Нет, это не от Генки“. Встал и вышел из-за стола. И больше в остаток вечера я его не видел.

Мне было не по себе, я подумывал о том, чтобы попрощаться, но парень, державшийся по прежнему дружелюбно и перешедший почему-то на „вы“, принялся устраивать меня на ночь. „– Вы на него не обращайте внимания, он у нас мнительный. Служба у него была такая“. „– Какая?“ – спросил я. „– А лагерем командовал. Всё ждет, что кто-то к нему придет“. И когда я уже лежал в темноте, просунул голову в дверь. „– Если ночью понадобится, во двор не выходите, собака спущена. Я тут ведро поставил. Сам-то в баню ушел ночевать! – хохотнул он. – Ну, батя дает!..“

Вот такая у них жизнь, думал я, засыпая. Скверная. Ну, и слава Богу.

Едва только в доме зашевелились, я встал и, ссылаясь на дела, спешно собрался. Парень смущенно проводил меня до калитки. „– Братану привет передайте“.

„– Дядя Петя-то?.. – усмехнулся Геннадий. – Да-а, этот с тараканами... Забыл тебя предупредить“.

Коля-герой

Ну и времечко было – военные сборы 1960 года! И мы молодые, и ветераны прошедшей войны еще молоды! Вот Коля Хитров, ему нет и сорока, а он Герой Советского Союза, пожалуй, единственный в химических войсках. А потому портрет с рассказом о его подвиге вошел во все учебники, которые изучают в училищах и в академии химзащиты. А поскольку по этим учебникам науку побеждать осваивают армии Варшавского договора, то Колю нашего в лицо знает, считай, вся Европа. Когда-то, вооруженный легким ранцевым огнеметом, он подполз к фашистскому доту и выпустил огненную струю прямо в амбразуру. А предельная дальность ее полета всего 25 метров. Я тоже служил срочную службу с этим ужасным оружием, но подвигов, разумеется, не совершал. Коля добродушный, компанейский, немногословный. На дружеское общение под выпивон денег не жалеет и все принимают это как должное – все же Герой. На всякий вопрос он отвечает согласно: „А как же!“

В воскресенье возле открытой эстрады на деревянных скамьях сидело великое множество офицеров из стран Варшавского договора, тоже участники сборов. Отмечали какую-то дату. А Коля в это время в тенечке на травке выпивал с приятелями (среди них был и я). Прибежал лейтенант, комсорг сборов.

- Товарищ старший лейтенант, насилиу нашел вас!..
- А что такое? – спрашивает Коля.
- Начальник политотдела просил подойти к эстраде.
- Зачем это? Не-е, у меня выходной.
- Так ваше же выступление через одного!
- Не знаю, не знаю... Лучше выпей с нами.

Пришел сам полковник. Уговаривал, мягко настаивал, еле вытянул его из компании. Коля вышел и сказал им в своей лаконичной и добродушной манере:

- Мы вас били, и будем бить.
- И вернулся к нам.
- Так и пообещал? – спросили мы.
- А как же! – ответил Коля и предложил за это выпить, что мы и сделали.

На Урал, за сюжетами

В сентябре 1962 года отправился на Урал, за сюжетами. Уж очень хотелось написать книгу.

Городок Суксун в Предуралье Горстка домов под склонами, те, кому не хватило места, лезут вверх, лавируя между елей. На самом красивом месте и в самом приличном виде церковь. Всё остальное ветхо, запущено. Масса грязных детей. Никто ничего не знает, народ, видимо, всё приезжий. Попадают мужчины в костюмах, при галстуках и в беретах – сразу видно учителей. На автобусной остановке их целая серия. Наверное, был семинар, потому что из клуба в школу потащили уродливый стенд.

На площади есть всё, что полагается для районного центра. Продаются пирожки. Дома с вывесками. У остановки столб до высоты поднятой руки оклеен объявлениями, многие на клочках расходно-приходных ведомостей. «Продается дом на дрова. Смотреть в любое время». «Имеется в продаже амбар и сено машины три будет. Смотреть в любое время». «Продается дом недорого. Смотреть в любое время».

Ходят парами старшеклассницы, засматриваясь на приезжих. На площади улеглись два теленка. Проехал с хозяйским видом милиционер на мотоцикле, высадил из коляски красотку.

В 4 подошел фургон-грузотакси. Шофер купил три пирожка и с сынишкой лет трех в тени уселся завтракать. Подбежала женщина:

- Афоня, подожди минут двадцать! В больнице три старухи из Ключей рентгена ждут.
- Ладно, подожду.

К ним подошел бритый старик в фуфайке и шапке-ушанке, тоже присел. Стал показывать свои документы и жаловаться, что не выхлопотать пенсию.

- Формально оно нормально, а на деле – безобразия, как Ленин говорил.

Тут уж я тоже подсел. Разговорились. Старик, Максим Дмитриевич, учился в Ленинграде в учительском институте в 30-е годы. Вдруг сказал:

- А поедем ко мне, у меня девятьсот пословиц собрано.
- Удача шла в руки. Я согласился. В фургоне он мне подмигнул:
- Сойдем у чайной, а там пешком недалеко.

В чайной буфетчица сходу нас встретила:

- Ни пива, ни одеколону!

Пошли по дороге. Оказалось, идем по Сибирскому тракту, по тому самому, каторжному. Вдоль тракта старые, доживающие свой век, березы, некоторые уже рухнувшие наполовину.

Сёла переходят одно в другое: Шарарово, Петухово, Село, Мостовая, Брехово – а все вместе Большие Ключи, на расстоянии 10 километров. У Мостовой курорт «Ключи». На большой голой сопке кто-то выложил белым камнем: «Уральская Мацеста. Миру – мир!»

Домики допотопные, со сгнившими срубами и крышами, заросшими мхом. В каждом окне как знак домовитости лежат толстые и ржавые семенные огурцы. Владельцы нас с Максимом Дмитриевичем провожают долгими взглядами. Некоторые спрашивают: не сын ли? Он отвечает, как у нас с ним условлено: сын. Ему приятно. Сын у него на самом деле летчик, майор. А может, привирает. Один парень остановился, покраснел:

- А ведь когда-то вместе бегали, теперь уж, наверное, не помните.

Зашли в пару магазинов – тоже пусто. На крыльце сидят старухи, лузгают семечки. В каждом огороде и картофельном поле – тяжелые подсолнухи.

- Скоро ли придем?
- Скоро, скоро!.. Домишко у меня небольшой, но хороший.

Из деревни вышли в лес. Стоят нетронутые рыжики, подосиновики, волнухи. А дома всё не видно.

– У меня собака есть. Дружба, ох, злая! Но ты не бойся, я ей скажу. В таком месте, как мы, без собаки нельзя. Волки подходят. Я тебе завтра баньку истоплю. Сейчас придем – рыжиков поедем со сметаной. Любишь рыжики-то?

Он будто извинялся, что далек путь, а гостя ему хотелось. Тем более было, чем удивить. Наконец с горы увидели хутор домов в восемь. Соседи уставились из окон, из огородов на нас. Максим Дмитриевич крикнул:

– Где она-то?.. Где она?

«Она» – хромая беззубая женщина – вышла от соседей. Странно видеть ее рядом со стройным, моложавым Максимом Дмитриевичем. Это его вторая жена. Какова же была первая?

Из дома, высунувшись в окно, тонко залаяла собачка Дружба. Оказалась добродушной дворняжкой. Домик жалкий, комната она же и кухня, половиц не хватает. Обстановка убогая. Дверь из сеней невысокая, я стукнулся о притолоку. Ох, и любит русский мужик приврать. Но все оказалось не так плачевно: в хозяйстве козы и овцы, куры и гуси.

Хозяйка поставила на стол похлебку в большой миске и две ложки. Максим Дмитриевич сказал: «– Мне хлеб-то не раскусить». И стал крошить хлеб в миску. Хозяйка сообразила и подсунула мне другую.

Электричества нет, зажгли лампу. Над столом образа, бумажные цветочки неопределенного цвета и прямо на обоях краской: «ХВ» – Христос воскрес.

Хозяйка спекла нам «яицко». Стали обсуждать, куда меня положить. Сенвал пуст – сено в копнах. Решили – на полу. Пословицы пришлось отложить до завтра, поскольку уже темно. Я лёг, не раздеваясь. Тихонько пело радио – довоенная черная тарелка. Часов в 9 началась гроза. Вспышки то и дело освещали белую печь, стоявшие на ней горшки и ведра. Всю ночь по мне бегали Дружба, две кошки и блохи.

Пицца наша

Максим Дмитриевич предупредил, что встанем рано. Я решил, что это будет часов в 6, поэтому, проснувшись в 5, уже не засыпал. А он себе преспокойно спал и в 6 и в 7. Хозяйка только в 6 перебралась с кровати на печь, наверное, замерзла. В полвосьмого я решительно встал, за мною и все. Моросит дождь, всё четко и ярко – и стволы, и зелень. Сделал на улице зарядку и в кустиках стыдливо вытряхнул рубаху.

Максим Дмитриевич, еще босой, протянул мне пачку листов со своими записями. Я жадно ухватился за них, стал листать. Оказалось – выписки из классиков («Горе от ума», «Евгений Онегин» и т. д.), типичные для сельского учителя. Несколько десятков альбомных сентенций типа «Любовь не картошка» и несколько сотен пословиц из школьных учебников, календарей и популярных журналов. Ну, что поделаешь... Я не стал обижаться на Максима Дмитриевича. А он сконфузился, потому что, видимо, рассчитывал попасть в печать. Но смущался недолго – жена позвала делать пельмени. Я тоже участвовал, их сделано 150 штук, они уже в печке.

А дождик сыплет и сыплет. Максим Дмитриевич, чтобы выправить недоразумение, подсунил мне свои стишки. Они о родине, об Урале, о кудрявой рябине. Попадают «романсы» и «дуэты». Видимо, Максиму Дмитриевичу есть о чем вспомнить. Об Урале:

Уральский камень драгоценный // Возили прямиком в Париж // Его носили всяки дамы // Имея оттого барыш.

Между стихами, на обратной стороне листов попало несколько заявлений. О пенсии. Жалоба на неправильный раздел наследства. Жалоба от хозяйки на то, что ей не оказывают медицинскую помощь. Писано рукой Максима Дмитриевича и заканчивается так: «В период, когда наша страна и великий советский народ, сбросивший иго помещиков, победоносно переходит к Великой Эре Коммунизма под руководством КПСС – не должно быть такого издевательства над людьми, чтобы не дали лошадь съездить к врачу».

Пельмени с картошкой очень хороши. Хозяйка четыре раза меняла миски. Потом поела сама, и теперь время от времени коротко вскрикивает – это она икает.

Пришла племянница Максима Дмитриевича. Наслышалась, что приехал его «сын». А вторых, хочет посмотреть дом, который «имеется в продаже» за 500 рублей. Старики советуют покупать, а муж не хочет – скучно. Максим Дмитриевич убеждал:

– Какое надо веселье! Гармошка есть, пьян будешь и здесь и там. Покупай, и корову есть, где пасти, и покосу много.

Я позвал их фотографироваться. Они всполошились, так долго «прибирались», что опять пошел дождь.

Над кроватью хозяев вместо коврика одноцветный рисунок – канва для вышивания. Не все ли, дескать, равно, коврик можно вообразить. Над образами репродукция Гойи «Дама с веером»: хозяйка увидела в ней что-то божественное.

Старик дал мне на дорогу крепчайшего самосаду. Звал на обратном пути.

Вот так они тут и живут, пока мы – там. Жизнь их полна вымыслов и фантазий.

Частица черта

Когда после работы пришли всей компанией к сотруднице на именины, нас встретили накрытым столом приветливые мама и тетя, пожилые крашенные блондинки. Никто и не заметил, как они напились. Раскрасневшиеся, обнося гостей хлебом, они теперь кокетливо раскачивались и распевали:

– Налейте, налейте полнее бокалы!..

Именинница увещевала:

– Мама, тетя, не гуляйте!

Но уже было поздно. Мама примаскивалась к кому-то из наших сотрудников на колени. Тетя, прихватив полы юбки и помахивая ими из стороны в сторону, выходила на середину:

– Ча-асти-ица чёрта в нас! Заключена подчас!..

В общем, разошлись...

В этой роли никого, кроме незабвенной Гликерии Васильевны Богдановой-Чесноковой, не принимаю.

Тесто

...А вот еще рассказывали... В Выре муж побил жену, она заплакала, побежала из дома, но перед этим вывалила себе в фартук тесто – а то убежит! Вскочила в автобус, села на заднее место. А тут тесто стало подыматься, живот начал расти. Люди заметили, закричали: «– Шофер, остановите! Женщина рожает!»

Ну, вот... Приехала к сестры... Пирожков нажарили.

Пишмаш

Купил свою первую пишущую машинку „Континенталь“ у тетки ужасно взбалмошной и нетерпеливой. Показывая машинку в работе, она печатала: „Что подписями с приложением печати удостоверяется...“ И так несколько раз. Объясняла:

– У меня всегда фантазии хватает только на это.

Принес для опробования знакомой машинистке Танечке. У нее фантазия была много богаче. „Ярмарка – это новый фильм. У меня болит сердце. Вы не думайте, что ему меня жалко. Гегелло рукопись я писала два раза. Она очень легкая машинка“.

Танечка рассказала, как в армии печатал один офицер: заложит руки в карманы, ищет букву, потом стукнет и опять в карманы. Потом показала собственноручно вышитую скатерть со старинными голубыми узорами.

– Это я не специально, а так, когда кого-нибудь жду.

А я думал, что вот принесу машинку домой и начну новый рассказ про молодую и добрую женщину, которая еще не вышла из своего девичества, как она работала в гарнизоне, и все ее звали Танечкой, но замуж никто не брал. Как она стала машинисткой-надомницей по причине большого сердца, чередовала машинопись с вышиванием, и по старой памяти к ней захаживает один офицер.

Но начал что-то другое.

Пожар

Когда мы жили на улице Куйбышева (ныне Большая Дворянская), в доме с грифонами, в нашем флигеле однажды поздним вечером случился пожар. На третьем этаже полубезумный старик, отчаявшись переспорить старуху, пустил в ход последний аргумент – поджег квартиру. Пожарные приехали, когда уже занялся четвертый этаж. Помедли они немного, и наш флигель, имеющий форму треугольной трубы, выгорел бы насквозь, но пожарная часть – кстати, самая старая в Петербурге, с наблюдательной вышкой, – находилась рядом. От дыма, проникавшего с лестницы, трудно было дышать, и мы, разбудив сына и наспех одевшись, выскочили на лестницу и принялись барабанить в двери черного хода чужой квартиры.

Открыли нам быстро. Через соседнюю парадную мы вышли во двор, где уже работали брандспойты, а в сторонке на стуле, размазывая кулаком слезы, сидел поджигатель. Старуху его уже увезла «Скорая».

Выйдя на темную безлюдную улицу, мы только там посмотрели, что у нас было с собой. Оказывается, я взял лишь паспорта и рукопись повести, над которой работал. Видимо, смутная мысль о том, что она нас в черный день прокормит, управляла моими руками. Все с моим спонтанным выбором согласились, несмотря на то, что повесть надо было еще написать. И от этого семейного согласия в том, что есть в нашей жизни главное, было так легко, что даже стало весело. Мы долго гуляли по пустым улицам, пока дом проветривался, дурачились, хохотали, пили газированную воду из автомата и фантазировали на тему «если бы да кабы». А когда вернулись, охранявший наш подъезд милиционер, шлепая сапогами по воде, каждого пронес до лестницы на своих закорках. Тут мы и вовсе развеселились, и этот вечер остался в моей памяти как один из самых счастливых.

В моих книжках тех лет из одной в другую кочует образцовая троица: папа, мама и сын, которые души друг в друге не чают. Немудреная идиллия эта возникает в «Бананах и лимонах», в «Чиже-Королевиче», а особенно остро и обреченно-несбыточно в повести «Трое Копейкиных и звезда». Так идеально мне представлялся заповедный семейный мирок, куда нет входа никому лишнему, где так всё подогнано и согрето, что комар носа не подточит. Мне удалось тогда построить такую семью лишь в воображении.

Любовь к поездам

В молодости, испытывая тягу к писательству, мучительно искал свой материал, свои сюжеты, своих героев, живущих в пространстве правды и искренности. Я завидую тем литераторам, которые рано поняли, что самый главный и неисчерпаемый источник творчества – это ты сам, твоя душа, мир твоих близких и та уникальная жизнь, которая творится в непосредственной близости от тебя. Ко мне осознание этого пришло много позже, а поначалу – в силу ли воспитания или от неумения мыслить и доверяться своим рефлексиям – я искал жизненных впечатлений на стороне. Мне казалось, что моя учительская профессия и вообще школа не дадут мне ничего для творчества или привяжут к одной теме. Нет, я, конечно, внимательно вглядывался вокруг себя и постоянно что-то открывал. Но меня не покидало чувство, что истинная жизнь протекает где-то вне нашего круга обитания, вдали от больших городов, без нас. Мы в ней не участвуем. В этом убеждении была и своя правда, и своя ложь. Часто я ставил себя или жизнь меня ставила в положение путника, и всякая поездка подальше от дома, в чужой мир, к незнакомым людям, казалась мне праздником.

Я любил все эти свистки, гудки, беготню опаздывающих и самый миг отправления, когда ты стоишь, а жизнь твоя внезапно пришла в движение. Ты у окна – между своим прошлым и будущим, и черт знает, что тебя ждёт. Мне всегда казалось, что каждая поездка заряжена тайной, чревата судьбоносными встречами, неотвратимыми приключениями. Не знаю, кто как, а я и сейчас момент отправления и первые минуты пути переживаю как перелом судьбы.

Постепенно темп этих превращений под стук колес нарастает, выравнивается, в ушах в такт движению начинает звучать какая-то навязчивая мелодия, в глазах кружение плоскостей за окном – и вот ты уже в состоянии прострации, душевной расслабленности, благожелательности и доверия ко всем, полностью готовый к чужим (и своим!) откровениям. Нет, пространство мчащегося вагона, действительно, что-то с нами делает! Где еще так легко и доверчиво сходятся незнакомые люди, делясь выпивкой, снедью, новостями, секретами личной жизни и планами на будущее? Где, в какой гостинице, женщина уляжется спать в полуметре от чужого мужчины, а утром, проснувшись, пожелает ему доброго утра?

Я изъездил тысячи километров в разных широтах некогда огромной страны. Исследовал, вернее, испробовал поезд во всех частях его долгого тела, от локомотива до последнего тамбура угольного состава из шестидесяти вагонов. Только на крыше не ездил. Однажды решил поехать на поезде в бригаде проводников. В штат меня не зачислили, но вписали в путевой лист поезда „Ленинград – Мурманск“ и обратно. Этаким полупроводником. Поезд был неторопливый, «народный», останавливался «у каждого столба». Наставницы, Саша и Люда, положили передо мною инструкцию: «– Изучайте!» – На первой странице я обнаружил такие данные: пассажир за час выделяет 20 литров углекислоты, 75 больших калорий тепла и до 100 граммов влаги... Зачем это мне?

Я пошел по вагонам – каждые три часа ехал в новом – в общем, плацкартном, купейном. Сколько я людей повидал, сколько пар, сколько семей, пока ехал! В скольких деревнях погостил, не выходя из вагона! Однажды в вагоне-ресторане побывал на свадьбе геологов. Она длилась ровно пятнадцать минут, пока поезд наш огибал слюдяной рудник в поселке Карельском.

Я даже написал повесть, где всё действие происходит в северном поезде – «Трое Копейкиных и звезда». Мама героя устраивается работать проводником, чтобы изредка видаться с любимым мужем, звездоискателем. Звезды ведь падают, значит искать их кому-нибудь нужно.

«...С тех пор каждую ночь со среды на четверг к маленькой северной станции из лесу приползал вездеход. Он останавливался у полотна, и едва только северный поезд переставал скрежетать тормозами, бил всеми фарами по восьмому вагону. А там, на площадке, в ослепительном свете огней, стояла, жмурясь от счастья, мама Леша Копейкина в белом нарядном

платье и в красивых туфлях. Иван Алексеевич не спеша подходил к ней, немея от восхищения, и она падала к нему сверху на руки, а он, бережно поймав ее, ставил на землю.

Пока тепловоз отдыхал, они, взявшись за руки, кружились у подножия поезда, и тени их скользили с вагона на землю и снова с земли на вагон.

А изо всех дверей глядели на них проводницы, невольно поправляя береты, и машинисты вытирали усталые руки, и повара прижимали к груди поварешки. Но у каждого в это время на руке тикали часики, напоминая, что время идет. Тогда машинисты кричали:

– Мало, конечно!.. Но что поделаешь!.. Нам надо ехать!..

Иван Алексеевич приподымал маму с земли и ставил на площадку. Машинисты давали свисток.

– Как там наш Леша Копейкин? – спрашивал папа вдогонку.

– Хорошо! – отвечала мама сверху. – В классе его выбрали вожатым звена?

– Это значит, чтобы звено водил? – спрашивал папа, едва поспевая рядом с вагоном.

– Да!

– Так ты передай ему: пусть ведет, куда надо, я на него надеюсь!..

– Переда-ам!.. Прощай!..»

Повесть была издана отдельной книжкой в Мурманском издательстве огромным тиражом – 115 тысяч. В Москве её инсценировали, сделали музыкальный спектакль и записали на пластинку фирмы «Мелодия». Главную партию там исполняет Елена Камбурова. Наверное, у кого-то из коллекционеров еще сохранилась.

Нет, ни о чем не жалею. Люблю поезда.

Теоретик здоровья

Странный парень попался мне на этот раз в попутчики. Сам в спортивном костюме, плечистый, упругий, а толкует все о здоровье. При этом не договаривает фраз, теряя к ним интерес.

– Кто ведет здоровый образ, тот и выглядит... Курение тоже имеет... Наследственность тоже играет...

Достал карманные шахматы. Обратился ко мне:

– Сыграем?.. Имеешь?..

Я ответил, что не имею.

Оренбургский платок

В дневном поезде на Москву моей соседкой оказалась женщина из Оренбурга с вязаньем. Разумеется, она вязала платок. Спицы мелькали в ее руках, и текла тонкая пушистая нить из сумки, лежащей на коленях. Она была не прочь и поговорить.

– Я азартная на вязанье... Вот, думаю, сегодня воскресенье, в магазин схожу, сготовлю, постираю, на завтра ничего не оставляю. Все на работу, а я сяду вязать!.. Ох, люблю вязать! Всё затекёт, глаза слезятся, плечами поведешь и снова. Всё думаю: какой у меня платок получится?.. Лучше в снегу повалять, он распушится. Можно постирать, только не в порошке – пушиться не будет. Там электричество – ляжет пух гладко. У нас многие на улице вяжут... Девочки, бывает, еще в школу ходят, а уже по три платка связали. Ручонки маленькие, слабые, а она ими вон что делает! Я, говорит, платок продам, себе школьную форму куплю, пальто куплю...

Я, как обычно в дороге, читал. А надо было и мне потянуть этот клубок человеческой судьбы, глядишь, и у меня бы что-нибудь связалось. Вот нападает иногда на меня такое упрямство – нежелание поддержать разговор, игра в молчанку.

Грустный Алик

Алик с завода реле рассказал мне свою историю.

– Она была у меня из Москвы, я служил в Загорске. Привез её сюда, в Ереван. Жили у меня. Однажды пришел в 3 часа ночи с товарищем. Она говорит: очень устала, буду спать. Я сам накрывал стол. Понимаешь, у нас это не полагается... Утром с товарищем поехали в аэропорт, купили билет, вернулись. Ну как, отдохнула? Собирайся, ты ведь сегодня уезжаешь. Спасибо за прошлое, спасибо за настоящее. Только через три дня спохватился. Сейчас жалею. Пронзительные звуки аккордеона. Пальцы столяра.

Кривой маршрут

Кому-то в Смольном в 1970-м году пришло в голову посадить журналистов всех ленинградских изданий в спальный вагон и отправить по европейской части страны, в те места, где работает продукция наших заводов. Группа собралась человек в двадцать – заводские газеты, городские, центральные. Мы с прозаиком Алексеем Л. представляли журналы: он – «Аврору», я – «Костер». Нас должны были прицеплять к разным поездам, каким нам заблагорассудится, а чтобы на железной дороге страны нас уважали, нам дали в «дядьки» Михаила Леонтьевича Коршунова, чью форменку украшала Звезда Героя труда. Ох, эффектное это было зрелище, когда Михаил Леонтьевич появлялся в кабинете начальника станции или перед бригадиром какого-нибудь занюханного поезда. А как он любил с деловым и решительным видом пройти по вагонам, по всем этим распаренным и расхристанным плацкартным, да хоть и по чинным СВ. Тотчас все головы оборачивались к его Звезде. Герой-железнодорожник был редкостью. Я его всё пытал: «– Михаил Леонтьевич, за что получили?» Он смущался: «– Да вот, понимаешь, вызвали, говорят: мы тебя представили...» Никаких трудовых подвигов он за собой не знал. Но разрядка – великая неодолимая сила. И он стал героем.

Сначала нас отправили в Москву, потом прицепили к ташкентскому поезду, пропахшему ароматной узбекской едой, которую готовили себе проводники. Он дотянул нас до Волги, крутившей (на свою погибель) турбины Ленинградского Металлического завода. Неподальёку, в Тольятти, резвились ленинградские станки, оснащая «Жигули», которые каждые 22 секунды сползали с конвейера. Потом севастопольский поезд втянул нас в кубанские степи и там оставил разбираться, как работают могучие тракторы «Кировец». Далее мы оказались на Северном Кавказе, в станции Зеленчукской, где на высоте более 2 тысяч метров среди альпийской растительности сооружался самый мощный в мире, по тем временам, азимутальный телескоп с шестиметровым зеркалом, отлитым на ЛОМО. Оттуда наш путь лежал в Одессу: там стояло научно-исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» – детище Балтийского завода. И завершался наш кривой маршрут в Киеве, в институте Патона.

Менялись географические зоны и часовые пояса, мелькали усталые лица директоров и проворных секретарей райкомов, одни производственные заботы сменялись другими, сыпались цифры, ломались от угощений столы, провозглашались тосты. Не успеешь познакомиться, разговориться, втянуться в заманчивый материал, а ты уже захмелел, и пора ехать. Впечатления были сильные, но поверхностные, толща жизни – непроницаемой. Поражала грандиозность человеческих усилий, но отсутствовал сам человек. Мне было стыдно за наше верхоглядство и торопливость.

Впрочем, газетчиков это, вероятно, мало смущало. На каждой стоянке к нашему вагону, отдохавшему на запасных путях, связисты протягивали телефонный кабель, ставили аппарат, и в газеты летели свежие репортажи, корреспонденции. Мы же с Лешей томилась бездельем, что-то записывали в своих блокнотах, трепались, попивали винцо. Знакомые журналисты, заходя к нам, сетовали: хорошо вам, писателям! Хорошо-то хорошо, но получалось, что время уходило впустую. Особенно жаль было покидать обсерваторию – что-то там интересное закручивалось, а парни были такие, что уходить от них не хотелось.

Я решил, что вернусь туда нынче же летом. Я еще не знал тогда, что вернусь и в Тольятти, и на черноморские верфи, и что вообще несколько лет буду мотаться, как угорелый, по заводам, фабрикам, промыслам, гидроэлектростанциям, собирая материал для книги о труде, о профессиях, о чудесных изделиях и талантливых людях, которую я затеял. Первый же азартный толчок, или, как говорят артисты, «кураж» сделать хорошую познавательную книгу в духе Бориса Житкова на замызганную и опостылевшую всем «рабочую тему» охватил меня именно

в этой поездке, при знакомстве с людьми, от которых мы так поспешно и постыдно сбегали. Книга появится почти через десять лет.

Минералы Урала

Вот я, наконец, в геологической партии. Мечта сбылась. Это Режевская партия Зауральской экспедиции.

... В конце дня геологи пошли «камеральничать». На столах разложили куски породы, которые принесли в сумках и рюкзаках. Геологов человек десять, из них трое – инженеры, остальные техники. Кроме парней, две девушки в фуфайках, брезентовых куртках – лица нежные, руки грубые. Техники определяют и описывают материал – керны. Инженеры составляют профили. Удивительно, до чего это коллективный труд. Над каждым интересным камнем собираются все, спорят, предлагают.

– А это бачишь?

– Кусок грязи. Один шлам.

– Сам ты грязный. А слюда откуда? Уже один раз доказывали, что это не шлам.

– Молчи, борода!

То и дело все переходят от одного стола к другому. И я с ними. Мой опекун Юра, техник с каштановой шотландской бородкой, взял один камень, вызвавший спор. Повертел его под лупой, стукнул и сразу понюхал, поплевал и послушал, ковырнул ножичком.

– Что там было?

– Тримолит, амфибион какой-то.

Говорят: после камней рук мыть не надо, они чистые.

Позже всех пришел еще один техник, Володя, – бледный, лысеющий, закутанный шарфом. Принес полный рюкзак и сказал восторженно:

– Какие я вещи принес!

Все сразу его обступили, над каждым камнем спорили. К одному камню прилипли лучистые сверкающие звезды. Стали вспоминать.

– Алунит?

– Да нет, это лунный камень.

– Он иначе называется. Какой же у него синоним?

– Беломорит, – сказал я.

Поискали в «Минералогии» – правильно. Я вспомнил Ферсмана, у него об этом целый рассказ. Вот и я пригодился.

Потом Юра повел меня смотреть керны. Во дворе и вдоль забора стоят друг на друге плоские ящики. В них керны – невысокие круглые столбики – твердые, мягкие или рассыпчатые. Они добыты на разных глубинах, вплоть до четверти километра.

Зрелище меня поразило. Камни Урала, о которых я столько мечтал, лежали у моих ног, да сколько – целые подземные кладовые, с самого дна. Чего только я не увидел. Бурые и светло-бурые охры. Рыжие ноздреватые кремнистые породы. Юра стал мне их называть, я только успевал записывать. Нотранит – мыловидный, жирный зеленого цвета минерал. Крупнозернистый гранит – пегматит (дойка). Волокнистый бело-зеленый хризотил. Полосатые болванки серпантинита (змеевик). Твердосбитые куски мрамора. Рассыпчатый, словно халва, горнеирит нежно-зеленого цвета. Гнейсы – слоистые, игольчатые, черные, искрящиеся, как бисер. Глаза мои разбегались, руки дрожали. Юра всё понял.

Назавтра меня экипировали «в поле»: один мастер дал плащ. Юра – сумку. И мы отправились на разработки никелевой руды. Ехали с ним и рабочими на узике. Один погрузил бидоны с водой – вода привозная. Юра объяснял:

– Пропала лошадь-водовозка. Отпустили на попас, и пропала. Три дня ищем.

Везли «железо» – коронки для бурения, какие-то штанги. На бескрайнем поле стояли в шеренгах 20 буровых вышек. От них к нам бежали люди, все оказавшиеся молодыми парнями. Из узика они получили всё, в чем нуждались.

На участке когда-то было овсяное поле, теперь вдруг оно проросло редкими низкорослыми метелками. Метрах в ста от нас стоял, как золотой дворец, молодой березовый лес, а ели у входа в него были похожи на зеленые портьеры. Среди берез пылала одинокая пурпурная осина.

Покончив с делами, Юра взял молоток, похожий на хищную птицу, и мы пошли по овсяным метелкам к лесу, на старые копи. Среди кустов много старых отвалов перемытой земли и камней. Когда-то старатели находили здесь крупные кристаллы розового, зеленого и черного турмалина. Старики мыли еще в 50-х годах, хотя это запрещено. Сохранился и деревянный садок. Мы ковырялись в отвалах, нашли несколько крохотных кристаллов, бледно-зеленых, чистой воды.

Юра ушел, и я остался один. Пахло полынью. Почти до земли спускались гроздья рябины, горели ягоды шиповника. От одиночества и от близости камней голова слегка закружилась. Я спрыгнул в полузаросшую яму и стал ковырять откосы, как мне казалось, нетронутые старателями. Камней было много, на первый взгляд они были неказисты, грязны, а расколешь – бешено запляшут причудливые изломы, краски, прожилки. Я впал в сомнамбулическое состояние и думал лишь об одном: хоть бы это длилось подольше, хоть бы никогда не кончалось. Я заворачивал камни в газету, складывал в сумку, а из дыры в откосе, как из тайника, доставал новые. Я был слеп и нем, потому что пока не знал их названий, да и знать не хотел. Сейчас в них была заключена какая-то тайна. Они были мне дороги и безымянные. Я первый извлекал их из небытия вместе с землей и корнями. Ибо, какое же бытие, если тебя никто не видел. Турмалинов я не нашел, их бы я сразу узнал.

Почувствовав, наконец, усталость, я вылез наверх и вышел на разработки. В плаще с молотком я вполне мог сойти за своего, и только ботинки меня выдавали. Встретил начальника разработок, он улыбнулся мне широко-широко.

Пока шел по дороге, меня обгоняли мощные десятитонные КРАЗы, они рычали, как самолеты на аэродроме, и обдавали тучей сизого дыма. Из глубоких карьеров они вывозили буро-красную глину. Среди безлюдного поля самосвалы были похожи на гигантских термитов: заберутся на «вскрышу», опрокинут кузов – и обратно. У маленького вагончика сидит женщина и ставит в блокноте крестики.

Один из КРАЗов собирался в Реж. Шофер со своей высоты сказал мне: «Садись!» И мы поехали. Трехтонки почтительно уступали нам дорогу.

Путь наверх

В июне 1971 года мы с моим сыном Алешей отправились на юг. Мне уже было почти сорок, а я еще Черного моря не видел, если не считать акваторию зимнего Одесского порта, да и то из окна ресторана Морского вокзала, в сумерках. Курортный юг вообще для меня долгие годы был символом обывательской роскоши, на которую интеллигентному человеку неприлично тратить время, а уж, чтобы отпуск там проводить в бессмысленном валянье на пляже, такого и в мыслях не было. В молодости я охотней отправлялся месить грязь по псковским и новгородским проселкам, бродить по среднерусским селеньям или уж, в крайнем случае, лазать по карпатским склонам. Позже, с возрастом, – хотелось и на юг, да гордость не пускала. (Уж если ты сноб, то далеко не уйдешь.) Но тут подоспела командировка «Литературной газеты», связанная с Абрау-Дюрсо, и встреча становилась неотвратимой. Мы не просто полетели, не просто сели в поезд и поехали, а отправились в путешествие через Кавказский хребет, чтобы не отдавать себя во власть южной неги так уж сразу.

От Ставрополя до Черкесска мы добирались несколько дней на автобусах и попутных машинах. Останавливались в совхозах. Разговаривали со станичниками («– Вы спрашивайте меня, спрашивайте!.. – говорил солдат-инвалид со Звездю Героя, а сам плакал – то ли в отчаянии от своей немощи, то ли от одиночества.) Ездили на тракторе «Кировец», разделив с молодым трактористом чувство превосходства над всеми, кто копошился внизу (он о тракторе: «– Эх, я его уважаю!») В станице Васильевской попали на стрижку овец, а потом и на праздник по случаю конца этой кампании (миска горячего бараньего варева из походной кухни и полстакана водки на стригале). И жадно смотрели по сторонам, на бесконечные просторы полей, которые мягко переходили в пологие склоны, клубившиеся кустарником и лиственным лесом, пока дорога, всё больше закручиваясь и сужаясь, не привела нас в горную страну, под самые облака.

Станица Зеленчукская, в которой я мимолетно побывал в январе, мирно и уютно полевивала в долине, меж двумя горными склонами, уходившими в небо. С зимы здесь ничто не изменилось, лишь пирамидальные тополя оделись зеленью. На базаре торговали соленым перцем и семечками, мужчины, сидя на корточках, лениво переговаривались, курили. Женщины тащили сумки. Бегали собаки, заглядывая прохожим в глаза.

Специальный автобус по горному серпантину привез нас наверх. На дикой горе посреди альпийских трав и цветов стояла башня с полусферическим алюминиевым куполом, похожая на инопланетный летательный аппарат. Мы были у первой цели нашего похода. Где-то далеко внизу серебрилась змейка реки Зеленчук, набегали на горы лиственные леса, извивалась, временами пропадая из виду, дорога. А ближе к нам, в седловине, белела палатка чабана, и сытые овцы лежали на изумрудном лугу, как серые камни. Какая-то беспокойная, почти тревожная мысль томила меня: как объять этот перепад двух разнонаправленных устремлений людей тех, что внизу, к простейшим житейским заботам, по большей части подчиненным добыванию пищи, и – этих, здесь, наверху, озабоченных получением слабых отблесков неизвестных миров, отстоящих от земных житейских забот на расстоянии 15 миллиардов световых лет? Патриархальная, словно оцепеневшая в своем равнодушии к цивилизации, жизнь чабанов наводила на мысль о тщете и гордыне. Полуразрушенные храмы аланского государства, попадавшиеся нам по дороге, были иллюстрацией к этому предположению.

– Нет, – сказал знакомый астроном Саша, с которым я поделился своим сомнением. – Ты ошибаешься. Никто так не близок нам здесь, как чабаны. Чабан, если хочешь знать, тоже астроном. Он великолепно знает звездное небо, он отыщет тебе любое созвездие, ему понятно движение звезд и все небесные перемены. Чабан может найти по звездам дорогу, определить время, составить прогноз погоды. О, если б все люди были так близки к звездам, как чабаны!..

Саша предложил нам войти в «стакан» телескопа, встать на место, предназначенное для зеркала, и, нажав какую-то кнопку, поднял нас под купол.

На обсерватории в эти дни шли последние приготовления к приему зеркала из Ленинграда. А пока латышские витражисты монтировали на потолке вестибюля знаки Зодиака. Посреди них в звездном небе летел Человек, в гениальности которого я усомнился. Я облизал обсерваторию и всё записал.

Позже я стану завсегдаем на ЛОМО, где буду без усталости встречаться с людьми, причастными к созданию телескопа, от главного конструктора, лауреата Ленинской премии Баграта Константиновича Иоаннисиани до сборщика-механика Александра Беспалова. Я разделю увлеченность этих людей и их веру в большую и славную жизнь их грандиозного детища. Баграт Константинович подарит мне снимок спиральной туманности в созвездии Гончих Псов, полученный с помощью нового телескопа. Мой очерк будет многократно опубликован.

Но никто из них не мог создать такой прибор, чтобы заглянуть вперед, на земные наши дела через какие-то три десятка лет, а если бы создал, то увидел бы зрелище не менее фантастическое, чем туманности «Водоворот» или «Сомбреро».

Северный Кавказ стал одной из «горячих точек» нашей планеты, где гибнут люди и рушатся материальные, в том числе, научные ценности. Академия наук СССР перестала существовать, а Российская академия осталась без денег, так что ей не до астрофизических исследований. ЛОМО, прежде могучее и знаменитое, потеряло большую часть заказов и еле сводит концы с концами. Ну, а телескоп-великан? Судя по всему, с его помощью так и не сделано ожидавшихся грандиозных открытий. Все надежды астрономов мира перенесли на космический «Шабл». А по станции Зеленчукской поползли разговоры, что во всех несчастьях, болезнях, случающихся здесь у людей, виновата обсерватория и ее необходимо разрушить. Нашелся даже один кандидат в какие-то депутаты, который пообещал это сделать, если его изберут...

Нет, не зря меня посещала тревога...

Ну, а тогда, в 1971-м, мы с сыном, не подозревая ни об этом, ни о многом другом, радостные и вдохновленные, уверовавшие в человеческий разум, и незыблемость земного сюжета, продолжали наше восхождение в горы, пока в белесом мареве неба не проявились заснеженные вершины Главного Кавказского хребта.

Благодаря моему командировочному удостоверению, мы получили ночлег на турбазе в Домбае и были приписаны к группе, которая через горный перевал должна была направиться к Чёрному морю. Должна была, да не отправлялась, поскольку вот уже третий день лил дождь.

Утро на базе

Утро на базе начиналось прелестной английской песенкой, которую потом, в течение дня, напевали, мурлыкали, бормотали все местные обитатели. Причем уловленные несколько слов текста у них превращалось в нечто чудовищное, какую-то абракадабру. Единственное, что удавалось изобразить всем, это трижды повторенное «гуд монинг!», да крики домашних животных: лай собак, мычанье коров, хрюканье, блеяние, мяуканье и всё прочее. А поскольку публика тут жила в основном молодая, то это ни для кого не составляло труда и делалось с удовольствием. Так что база на несколько минут превращалась как бы в скотный двор. Радист, сколько его ни умоляли, ни за что не соглашался поставить песенку среди дня, поэтому всем ничего не оставалось, как ждать следующего утра. Те, кто боялся проспать, еще с вечера заботились о том, чтобы не пропустить песенку, оставляя репродуктор включенным. Надо сказать, что хорошее настроение, вызванное утренней песенкой, нисколько не мешало обитателям базы немедленно после завтрака принять склочный вид и требовать, чтобы директор вышел в холл и дал объяснения, почему их задерживают на маршруте. Понять их тоже можно было: люди в свой законный отпуск хотели поскорей к тёплому морю. Тема этих объяснений вот уже четвертое утро была одна и та же: погода. Директор за много лет административной службы в горах настолько привык давать объяснения, что его слово, обращенное к публике, превращалось в маленький научно-популярный доклад.

Прежде всего, он никогда не появлялся на базе до завтрака, хорошо понимая, насколько лучше знания усваиваются на сытый желудок, чем на пустой. Во-вторых, он выносил из своего кабинета схематический план горно-морского района и безошибочно вещал его на никому не видимый гвоздик. Этим он как бы переключал внимание озабоченной публики со своей персоны на объективную картину событий, так хорошо и красочно запечатленную художником. Пока все рассматривали горные гряды, пики и ущелья, директор негромко, по-доброму рассказывал о резком перепаде давлений, о разнице температур, о направлении ветров, давая при этом понять, что нежелательные погодные явления зарождаются далеко, где-нибудь в Турции или Иране, о чем, сами понимаете, можно только сожалеть. Присмирив под воздействием этих доводов, публика расходилась, незаметно для себя напевая, мурлыча, бормоча английскую песенку, и с этого момента день на базе протекал нормально: под знаком популярных мелодий, шахмат, ближних прогулок, послеобеденного здорового сна, вечерних кинофильмов и танцев.

На следующее утро всё повторялось.

Путь вниз

Через несколько дней мы покинули Домбай. Автобус, натужно пыхтя, долго петлял по горным террасам, с каждым витком вознося нас все выше и выше. Облака теперь плыли внизу, над ущельями, а по лесным склонам скользили их тени. Ломило уши, и было холодно. Чтобы привыкнуть к новым ощущениям, остаток дня и ночь мы провели на специальной базе – Северном приюте. А наутро длинной вереницей двинулись за инструктором по каменистым, местами заснеженным и обледенелым тропам Клухорского перевала, с удивлением оглядываясь на пышные, с нежной окраской, кусты рододендронов. На Южном приюте, куда мы добрались через несколько часов, нас встречали с аккордеоном. Это уже была другая страна – северная Грузия. Войлочные шапочки, которые носили наши новые инструкторы-сваны, и нам бы не помешали – воздух был стылый. Просто не верилось, что внизу, в каких-нибудь ста километрах, лежат тропики, волнуется теплое море, люди беспечно ходят босиком и нагишом. Здесь же прихотливая человеческая натура давала себя знать любовью к сумрачному ущелью, студеному воздуху, овечьим отарам и горным орлам. Да еще к головокружительной езде по узким террасам, весь ужас которой мы ощутили на следующий день.

Утром с побережья за нами пришел грузовик с расшатанным кузовом. Мы разместились на дощатых скамьях по пятеро-шестеро в ряд, и он вырулил на каменистую крошащуюся террасу. Сначала она была еще приличной ширины, ну так, на полтора грузовика, но вскоре наш левый борт стал скрежетать о каменную стену, что говорило о том, что правые колеса на террасе едва помещаются. Мы висели над бездной, она становилась всё глубже и круче, и те, кто сидел по правому борту, отводили от нее глаза. Прошедшие дожди деформировали дорогу, на ней валялись упавшие сверху камни и небольшие кусты, потоками воды были намыты песок и щебень – я мог это видеть, оглянувшись назад. Машину качало, порою креноило вправо. Сын сидел рядом, его мутило, я проклинал себя за то, что взял его в такое рискованное путешествие, не подозревая еще, что главные жизненные испытания будут подстерегать его исключительно на ровной местности. Нервное мое напряжение проявлялось каким-то странным образом: я напевал весёлую песню, внушая себе беспечность, хотя впору было молиться Богу, долго и всерьёз.

Затем мы оказались в каком-то селении, где шла посадка местных жителей в рейсовый автобус, и значит, государство уже давало пассажирам какие-то гарантии. Но над новым ущельем, которое теперь разверзлось слева, и под новой отвесной стеной справа, мы быстро поняли, насколько они зыбки. Дорога стала чуть шире, в полтора кузова, но зато наш водитель, профессиональный игрок со смертью, увеличил скорость, чтобы не казаться самому себе и встречным водителям слабаком. Так что риска не убавилось, а может быть, и прибавилось, потому что на узкой обочине то и дело стали попадаться крашенные столбики с засохшими венками в знак памяти о бесстрашных водителях, однажды проехавших здесь в последний раз. Местные жители, должно быть, принимают эту езду так же покорно, как суровый климат: вах, ну не растут у нас мандарины, что делать! Опасность в этих местах становится составляющей образа жизни, могильный холмик на обочине – частью ландшафта. Смертельный риск входит в быт наравне с добыванием пищи или, скажем, поддержанием родственных связей. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, на обочине газет, в хронике, публикуется сообщение: «В Дарьяльском ущелье со 130-метровой высоты сорвался в пропасть автобус ПАЗ. Все 39 пассажиров, ехавшие на похороны 23-летнего родственника, погибли». Смерти смерть поправ.

Я бы не сказал, что и через пару часов такой езды мы к ней привыкли. От сердца отлегло только тогда, когда в ущелье, раздвинувшемся теперь уже пологими краями на многие сотни метров, пахнуло теплым и влажным воздухом морского побережья. Мы подъезжали к Сухуми.

Дятел

Фролицева пустынь – один из духовных центров старой России. О прошлом напоминает лишь разрушенный собор, стоящий в песках среди сосен. Когда-то к этой святыне со всей страны приходили паломники. Сегодня здесь хозяйничают военные. Да и найдешь ли на просторах России место более подходящее для обучения ратному делу? Стройные сосны, побеленные на высоту солдатского роста, своим подтянутым видом символизируют основную армейскую ценность – единообразие. А молодые посадки, вытянутые во фронт, – те и вовсе напоминают бравых солдат на параде. За пределами военного городка каждая сосна обретает насечки, похожие на шевроны, и треугольную чашечку – военное лесничество („Военлес“) собирает живицу, из которой изготавливается скипидар. („Мчит Юденич с Петербурга, как наскипидаренный“.) Среди сосен расположены деревянные летние домики – казармы и классы. В одном из них нам, офицерам запаса, поверяют науку (частично секретную), как поднимать боевой дух войск в условиях атомной или химической войны. Томясь от жары, под убедительный голос старшего офицера, мы заполняем конспекты, которые потом необходимо сдать в „секретную часть“. Серьезность наших занятий прерывает настойчивый стук по наружной обшивке домика: „тук-тук!.. тук-тук-тук!“ Это время от времени прилетает дятел напоминать нам, что без отравляющих веществ (ОВ) жить совсем неплохо и чтобы мы не очень-то увлеклись.

Товарищи офицеры

Кого только нет в эти жаркие дни во Фролищевой пустыни. Мужчины многих наций и вероисповеданий призваны сюда поклониться единому богу войны. Одни делают это с удовольствием, другие с тягостью и печальным недоумением, третьи с юмором, который, конечно, не может не быть казарменным.

Кузьма Кашин, совхозный партсекретарь „с Житомирщины“, и здесь не потерял значительности и самоуважения. Он победно поглядывает вокруг себя, как привык это делать, сидя в президиуме. Любые цифры, даже тактико-технических данных, он произносит с пафосом – видимо, цифры это его любимое средство убеждения. Что-то в нем от шолоховского Нагульного, временем неистребимое.

Кого-то из литературных героев напоминает мне и Абрам Ефимович Гафт, философ из Харькова, возможно, Фарбера из „Окопов Сталинграда“. В войну он командовал зенитной батареей, имеет награды, но чтобы не выделяться, их не носит. Он приземисто крепок, спортивен, разрядник по боксу и по гимнастике. Мы с ним часто беседовали, а после сборов какое-то время писали друг другу.

Тахир-Оглы Алиев, несмотря на жару, мерзнет. Когда он сидит на кровати, скрестив тонкие смуглые ноги, он похож на арабского мальчика, которых рисуют советские художники-туристы. Над ним посмеиваются за то, что он спит в пижаме, не умеет пришить пуговицу и выбросил рубашку, которую не хотел стирать. Сидя, он перебирает старинные черные четки и читает стихи по-азербайджански. Вдруг он замирает и меланхолично произносит:

– Старшина опять пошел на баба.

Мерзнет и каракалпак Бегнияз Бегдулаев. Кутаясь в тонкое одеяло, он посылает в пространство отчаянно искренние восклицания:

– Я не знаю, как здесь люди живут! Всюду лес и лес, а где же степь? Где солнце?

Грузинский аристократ Гурген Сачков держится независимо, курит дорогие сигареты и играет с физруком в теннис. В казарме он надевает синие брюки, белую рубаху с галстуком и отчужденно сидит под репродуктором, если передают классическую музыку. Его земляк, ширококостный крестьянин Богишвили относится к нему с презрением.

Заметное место в казарме занимает лейтенант Кукса, специалист по защите растений. Он развешивает портянки на спинку кровати, чтобы просушились, что не всем нравится.

– Слухай меня! – возглашает Кукса, ложась навзничь. – Кто сейчас сдернет портянки, той против советской власти!

Кто-нибудь все же находится. Странная потребность у него: все время жаловаться, вспоминать, как его ругали, обзывали:

– Кажи?.. Повариха, когда я дежурил: „Уйди ты от меня, что ты не сделаешь, меня как током дернет!“

Или:

– Слыхал? Он говорит, что у меня язык как тряпка!

Ближайшие соседи не отказывают себе в удовольствии развить эту тему. Он затихает, обижается. Но ненадолго. Вдруг начинает петь „Красную розочку“ на два голоса: строчку басом, строчку фальцетом.

А на полевых занятиях нет увлеченней человека, чем он. Когда все рассеянно слушают порядок развертывания какого-нибудь дегазационного пункта, он резво ползает по траве, выискивая жучков, личинок, гусениц, и направо-налево объясняет, как с ними бороться.

Голоса

Как ни томительны были шестьдесят дней сборов, за это время успело образоваться солидарное, грубовато-веселое, добродушно-насмешливое по отношению друг к другу мужское братство. Некоторых жаль было терять из виду. Кое с кем я поддерживал отношения. Иные остались в памяти внешностью, голосом, манерой себя вести или одной фразой.

Белорус Григорий Калилец: «– Сирожя, пойдём у лес, может быть, удастся ягод покушать».

Ленинградский резонер Коля Смирнов: «– Ещё один день канул в небытие...»

Кузин, не помню, откуда, большой, толстый, с выгоревшими бровями. Входя в столовую, густым голосом: «– Кузина накормили?»

Бурят Санжаев на лекции, через каждые пятнадцать минут: «– Разрешите выйти? – Зачем? – Вода бросать».

Веселый парубок Печерский, раздавая „секретные“ тетрадки, сытым квакающим голосом: «– Кукс! Василий Иванович! Оглы!..»

Гулин, мечтательно: «– Мне бы пить желудочный сок!..»

Неизвестный, ночью, во сне: «– Бей десятого! В дверях бей!..»

Привет вам, сослуживцы.

Ядерный удар

На тактических занятиях нам раздали крупномасштабные карты территории условного противника. Мне досталась карта окрестностей Веймара. Я с интересом всматривался в значки и обозначения чужой местности, где и сейчас жили люди, не подозревая, что я ими интересуюсь.

Буковый лес Эттерсбург. Это хорошо. Вероятно, туда сейчас кто-то пошел по грибы (хотя позже я узнал, что немцы лесных грибов не собирают). Детский дом. Это понятно. Стрельбище, ключ, охотничий дом, водохранилище – все, как у людей. Развалины концлагеря Бухенвальд. Это уже хуже...

Возможно, кусок местности и был выбран с расчетом на подсознательное чувство враждебности и неутоленную жажду возмездия, чтобы по нему не жаль было нанести тактический ядерный удар. А именно это от нас и требовалось. Я уже не помню, как располагались войска противника и наши войска, но что-то там выходило, что без ракеты с ядерной боеголовкой дальше они не продвинулись или понесут большие потери.

Напрягая свой скудный тактический ум, я таки шарахнул ракетой по развалинам Бухенвальда, надеясь, что обитатели детского дома, располагавшегося в четырех километрах, были уже эвакуированы. Майор, правда, со свойственным кадровым офицерам злым воодушевлением сказал, что взрыв нужно было произвести левее. Или правее.

Через пять лет я побывал в этих местах. Судя по безмятежной, хотя несколько угрюмой атмосфере протекавшей там жизни, все было в целости и сохранности. Старый немец-антифашист, соблюдая такт и порядок, показал нам лагерь. Мужчины нашей группы после этого по черному напились, а с некоторыми женщинами случилась истерика.

Я подумал, что сокрушительной силы взрыв в этой местности все же произошел, но не по моей вине. И может быть, не ядерный, а психотронный, с бессрочным периодом полураспада. Как и в некоторых других местах Европы и Азии, от Германии до Магадана, он поразил психику и душевный мир нескольких поколений, произвел мутации и мертвые зоны, обесценил веру в разум людей. Бывать там опасно, думать об этом вредно, а забыть невозможно.

Разлучница

В заполярном авиаполку комендантша офицерского общежития, грузная баба, указала на стул подле себя:

– Валька вот тут сидела, слезы на кулак наматывала.

Учительница, офицерская разлучница, ничего не скрывает, даже гордится: да, было. А что, было!.. Как в космос слетала.

Белокурая, сонная, красивая. Жены ее ненавидят. Ученики уважают. А директор побаивается.

Старая Юрмала

Мы искали мне комнату на взморье. Моя рижская знакомая Кармела Медалье была в белых перчатках. Стояла осень, сезон закончился и комнат никто не сдавал. Только в двух или трех домах хозяева, поудивлявшись, стали искать варианты. Молодая женщина с ребенком сказала, что она не против, но ребенок будет беспокоить, так как сейчас не лето и на веранде он быть не сможет. Она стирала в тазу, когда мы пришли, а малыш ползал рядом.

В другом доме нам открыла удивительно красивая девушка лет пятнадцати. Покуда ее мать и Кармела разговаривали по-латышски, она в изломанной позе, как это бывает с подростками, стояла в проеме двери, как в раме, и поглядывала на меня с живым интересом, давая, впрочем, возможность разглядеть и себя. Я тогда еще не читал „Лолиту“ и у меня не могло возникнуть каких-либо литературных аллюзий, но и без них сигнал опасности прозвенел. Я не помню, почему мы не договорились, возможно, поэтому.

Из третьего дома, живописного двухэтажного особняка, на наш звонок вышел интеллигентный мужчина, вероятно, мой ровесник, и стоя на фоне огненного плюща, опоясавшего крыльцо, весьма доброжелательно, но с легким оттенком высокомерия, как это часто бывает в Прибалтике, поговорил с нами. Он поинтересовался, почему я не в доме творчества Райниса. Было видно, что в нем борется желание оставаться единственным владельцем своего комфорта и надежда занять собеседника, поскрытничать, но и похвастаться. Он просил зайти, если мы ничего не найдем, но я уже решил, что сюда не вернусь: его общество меня бы тяготило.

В наших разговорах постоянно участвовали обнаженная земля палисадников, сухие изломанные стебли отживших растений, глянцево-орехи каштанов, поздние цветы, по преимуществу, желтые, и яркие листья кленов. Пока мы ходили, нас сопровождал горький и пряный дым тлеющих куч. Все три дома были чреватые сюжетами, которые, будь у меня жизненная сила, я мог бы прожить или сфантазировать. Но меня одолевала депрессия. Я искал одиночества.

От калиток и дверных ручек белые перчатки Кармелы испачкались. Назавтра она уезжала в Москву.

Я ушел в дом Райниса, купил путевку, поселился во флигеле, где жили «шахтеры», но через неделю, сраженный их активными формами отдыха, не написав ни строки, уехал домой.

Чрезвычайный Ташкент

В свою первую писательскую командировку я отправился с чистыми помыслами, свежими силами, в предвкушении экзотических приключений, которые меня ждут-не дождутся на краю по имени Узбекистан. На календаре было 26 апреля 1966 года. Со мной поехал приятель, Валерий Воскобойников, променявший, как и я, свои серые служебные будни на неведомую, но заманчивую долю писателя.

В ночном рейсе Москва – Ташкент шли какие-то загадочные возбужденные разговоры между пассажирами. Особенно волновались узбеки. Стюардессы скупно отвечали на их вопросы, и понемногу становилось ясно, что в Ташкенте в прошлую ночь произошло сильное землетрясение, что город разрушен. Получалось, что мы летели к руинам и людскому горю.

Самолет приземлился точно по расписанию. На «экспрессе» мы поехали в город. В автобусе шел шумный разговор по-узбекски с участием водителя. Поначалу никаких признаков катастрофы за окном замечено не было. И только въехав в город, мы увидели груды глинобитных обломков, бывшие недавно домами, костры посреди улиц, палатки, спящих на раскладушках горожан. Центр являл собой подобие огромного походного лагеря в минуты, когда людей свалила усталость и им уже ни до чего – ни до прошлого, ни до будущего. Все уличные часы показывали одно время – 5.23. Ровно сутки назад их остановил семибалльный толчок, прорвавшийся по земным недрам. Можно представить, с каким ужасом спешили к своим домам пассажиры нашего «экспресса», закончившего свой рейс в центре. Лишь нам спешить было некуда. Мы, конечно, ждали приключений на свою голову, но это уже был перебор.

Возле гостиницы «Узбекистан» на вынесенных из вестибюля креслах спали в неудобных, изломанных позах иностранцы, любители восточной экзотики. Швейцар принял наши вещи в камеру хранения. Мы побродили по площади, огляделись. Водители первых автобусов компостировали путевые листы у автомата. Понемногу светало. Многоэтажные дома, окружавшие площадь, стояли на месте, и лишь приглядевшись можно было увидеть, что на одном не хватает балкона, на другом штукатурки, а третий прорезан от крыши до основания зигзагообразной трещиной.

Площадь, к нашему удивлению, вдруг стала заполняться войсками. Заиграл оркестр. Это началась репетиция первомайского парада. Просыпались в своих креслах потревоженные иностранцы. Начинался полный абсурд. Мы ушли на соседнюю улицу. Здесь от густой листвы нависших деревьев было еще темно. Во всю длину улицы на раскладушках, на тюках спали люди. Брошенные дома, частью уже непригодные для жилья, частью затаившие смертельную угрозу для своих хозяев, мрачно тянулись позади деревьев. Кое-где горели костры, работали транзисторные приемники на волне «Маяка». Мы присели к одному из костров, нас угостили чаем.

Сходиться с людьми в эти дни было легко, и я уже не помню, где мы познакомились с Дилей Танеевой. Хрупкая девушка, с восточным разрезом глаз и каштановой челкой (как выяснилось позже – полутатарка, полурусская по происхождению), таскала огромный портфель, набитый всем, что нужно для жизни: от зубной щетки до томика Цветаевой. Чувствовала она себя, как и мы, неприкаянно, хотя, в отличие от нас, находилась не в гостях, а дома. У нее был высокого тембра голос и вдохновенная манера речи, почти как у Ахмадулиной.

Мы стали ходить с нею вместе и в первый же день обрели уйму знакомых. Заходили в какие-то треснувшие дома возле арыков, пили зеленый чай. С газетчиками ели шашлык у мангалов на улице. Сидели в кафе «Уголок», где нам читали стихи местные поэты. Шли (но не дошли) в какую-то театральную студию, где Диля что-то там репетировала, по-моему, Офелию. В саду из дупла старого дерева она вдруг достала адресованное ей письмо от человека, с которым мы тоже потом познакомились. Ночевали мы у ее друзей, в одноэтажном доме. Ночью

был сильный толчок. Все вскочили, встали в дверных проемах. Диля в Ташкенте знала всех приличных людей. Это через нее я познакомился с превосходным поэтом Рудольфом Баринским и с Сеней Злотниковым, впоследствии известным драматургом. Все они на долгие годы станут моими друзьями.

Понемногу картина события, происшедшего в этом городе, стала проясняться в подробностях и с разных сторон. Ну, прежде всего, стало ясно, что не было жертв, хотя были раненые, и это позволяло не относиться к тому, что случилось, как к трагедии. Во-вторых, от первого же толчка рухнули глинобитные, осточертевшие всем кварталы. Люди, маявшиеся еще со времен войны, получили надежду на переселение. И выходило так: город рухнул, а никто не плакал.

А главное – пошатнулся рутинный, опостылевший всем уклад жизни. Было тревожно, ждали новых толчков, но какое-то другое чувство было сильнее тревоги. В бивачной сутолоке и неразберихе повеяло вдруг свободой, братанием. Враждовавшие прежде соседи вдруг помирились, полужнакомые люди сблизились. Над застойными советско-мещанскими буднями, полными запретов, ограничений, условностей, взвились мятежные стяги вольности. Особенно остро это чувствовала молодежь, оттого так много было в городе возбужденно-счастливых лиц, оттого песни, которые прежде звучали под гитару только на кухнях, выплеснулись на улицы. Можно было подумать, что на пороге не только житейские, но и какие-то другие перемены.

А тем временем в Ташкент со всех концов страны летели тучи специальных корреспондентов. Будь мы поопытней, побежали бы к телетайпам, дали бы горячий репортаж в ту же «Ленправду», ведь мы все-таки были первыми, прилетевшими на место события еще до официального объявления. Но мы повели себя не как журналисты, а как литераторы – и правильно сделали.

Один из дней я провел в детском доме у Антонины Павловны Хлебушкиной, удивительной женщины, ставшей матерью для многих сирот военного времени. Затем мы отправились в запланированную поездку по республике – Фергана, Самарканд, Бухара – и лишь дней через десять вернулись в Ташкент. Блокноты мои пухли от собранного материала. И хотя этим маршрутом до меня прошел не один такой же самонадеянный литератор, меня не покидало чувство, что на многое я взглянул глазами первооткрывателя. Позже результатом этой поездки (подкрепленной еще одной – через год) станет книга очерков и эссе «Аисты в городе».

От тех дней мне досталась в друзья на долгие годы и светлый человек Диля Танеева. Одно время мы переписывались, встретились как-то на моем спектакле в Москве. А потом потерялись – переезды, житейские хлопоты, дети. И вот Фейсбук недавно снова нас свел. Ничего в ней не поменялось – тот же юношеский доверчиво-восторженный взгляд на мир, борьба за всё хорошее против всего плохого. И надо ж было случиться такому совпадению (а как же без них!), что за пару лет до этого я дописал задуманную прежде пьесу – «Будни Офелии». Пьеса о юной женщине из южного города, которой мужчины, «разнообразные не те», проходу не дают, да еще полузабытый муж вернулся из изгнания. А у нее единственная страсть – театральная студия, где режиссер Гусев назначил ее на роль Офелии. Ну и, естественно, сам режиссер...

Вот такой сюрприз я преподнес своей закадычной подруге. Землетрясений случайных не бывает.

Хлебушкина, которая им хлеба дала

... Сыновья были разные: беленькие, черненькие, каштановые. И появился один рыжий. Его привезли из блокады. Он вытягивал шею и ловил воздух ртом. Но потом, когда он поймал, надышался, ему сказали: – Еды у нас не очень много, но тебя-то, дистрофика, накормить хватит. Ешь! – И он стал есть и съел сколько мог. – Наелся? – спросили его. – Наелся. – Ну, теперь утрись, да пойди, отдохни.

Он отдохнул, но потом снова почувствовал признаки голода. И подумал было пойти об этом сказать. Но ему стало совестно. Он знал, что еды осталось немного, и не смогут ему всю скормить. Тогда он подумал, что раз еды мало, то всё равно на всех не хватит и от неё никто не станет сыт. Но ему было совестно. Тогда он подумал, что если встать ночью и съесть ту еду, то вовсе никто не узнает. Но ему было совестно. И тогда он пошел.

Он разбудил двух дистрофиков, чтобы не так было страшно, и сказал им, что у него есть еда. Дистрофики при этом моментально вскочили, так как спали и видели еду во сне. Они вдвоём держали веревку хилыми своими руками, а он, обвязавшись ею, спустился вниз. Там, в холодке, на шнурах, чтобы не достичь было крысам, висели две военные колбасы.

Тогда он сломал одну и стал есть, а сверху на него глядели дистрофики, упрашивая большими глазами о колбасе. Он, не переставая есть, кинул им кусок, но в отверстие не попал, и кусок шлепнулся в пыль. Он скоро почувствовал, что колбаса была очень соленой. И ему захотелось пить. Рядом стояли бутылки с хлопковым маслом. И он пил, задрав голову, а сверху смотрели большими глазами дистрофики, умоляя о масле и о колбасе.

Он сунул кусок колбасы за пазуху и приказал им, чтобы вытаскивали, и они потянули веревку изо всех сил. Но известно из каких-то законов физики, что двум дистрофикам одного не поднять. Когда он понял это, он стал просить, чтобы они хоть спустили ему воды. Но они, не желая без колбасы быть виноватыми, бросили веревку и побежали на тонких ногах.

Утром его нашли с запекшимися губами и стали промывать изнутри и снаружи. Он был жив, раз вытягивал шею и ловил воздух ртом. – Наелся? – спросили его. Он прошептал: – Наелся... – Ну, теперь утрись и пойди, отдохни. Это ему сказали блокадники: три брата Бурштейны, Валя Андреева, Зоя Лаврова и другие. А Антонина погладила его по рыжей стриженной голове, потому что и это был ее сын.

* * *

Однажды во двор вошел рыжий моряк – косяя сажень в плечах. Он поставил чемодан, огляделся и сказал, что дома раньше такого не было – новый, видно, построили дом. К нему подошли пацаны и спросили, а кто он такой. Он сказал, что он их брат, тогда они стали выяснять его фамилию, он ответил, что его зовут Генка Лукичев. Пацаны побежали к матери и закричали, что приехал какой-то рыжий, назвался их братом, так правда ли это?

Мать вышла на крыльцо, всплеснула руками и сказала, что правда. Тогда моряк подошел к ней и спросил, за всё ли она его простила? Мать сказала, что это он зря выдумывает, и велела приготовить для него ванную, отдельную комнату и накрыть для всех праздничный стол.

Но моряк не унимался. Он все ходил следом за матерью. Он сказал, что он отличник боевой и политической подготовки, но только вот простила ли она его? Она отвечала, что ей и прощать-то нечего, не помнит она за ним ничего. А сама вызвала повариху и велела ей кормить моряка по особому рациону, чтобы каждый день были блины, пироги и беляши. Она ему показывала новый дом и всё новое оборудование, и инвентарь. Ему всё нравилось, всё он расхваливал, а сам спрашивал, простила ли она его. Ну, она, конечно, ответила, что если и было за что прощать, то уж, конечно, давно она простила и надо ли к этому возвращаться.

Тогда он пришел к ее младшим сыновьям и стал уговаривать их, чтобы не шалили, чтобы не расстраивали мать. Они сказали, что и так не шалят, пусть лучше он научит их сигналить флажками. Тогда он встал в коридоре на табурет и стал учить их, как желать друг другу и матери спокойной ночи на сон.

А она в это время купила ему чемодан персиков и две бутылки вина, потому что на другой день ему надо было уезжать на корабль. Он сказал ей «прощай» и спросил, простила ли она его. Она ответила, что вот две бутылки вина – это командиру корабля от матери, а персики – на угощение морякам. Тогда он поцеловал ее и уехал к себе на корабль.

Ключи от Ташкента

Вернувшись из поездки по стране, мы с моим спутником Валерием однажды вышли из ташкентского автобуса, и нас тут же окликнула молодая женщина в шелковом платье.

– Простите, – сказала она, – мы сейчас вместе ехали, я случайно слышала, как вы говорили между собой, и поняла, что вам негде жить.

– Да, это верно, – ответили мы. – Гостиница у вас теперь переполнена, но что же делать, такое время... Да мы и не в обиде, многие ведь ночуют на улице...

– Вы из Ленинграда?

– Из Ленинграда.

– Будем знакомы, меня зовут Наташа. Знаете что, у меня есть предложение – поезжайте жить к нам. Нет-нет, серьёзно, прямо сейчас и поезжайте, я вам всё объясню, вы найдёте...

Она протянула нам маленький французский ключик, а потом достала записную книжку и, пока мы говорили «неудобно», «как же это получается» и прочее, нарисовала нам план.

– Располагайтесь как дома, – говорила Наташа. – Мойтесь в ванне. В холодильнике найдёте еду. А вечером мы навестим вас с моим мужем Лёшей. Договорились?

Не успели мы сказать спасибо, как она исчезла. Мы ещё долго рассматривали ключ и листок с маршрутом.

Через двадцать минут мы прибыли в новый район Ташкента, который называется Высоковольтный массив, и на цыпочках поднялись на верхний этаж нового кирпичного дома... Бесшумно открыли квартиру номер двенадцать... Мы боялись, чтобы соседи не заподозрили что-нибудь худое, потому что чувствовали себя в этом доме лишними людьми.

В квартире Наташи было много книг, красивой керамической посуды и различных засушенных растений.

Мы сделали всё, как велела хозяйка: умылись, поели и уселись ждать. Вечером появились Наташа с Лёшей, а с ними ещё несколько человек. Квартира наполнилась голосами. Хозяйка торопилась.

– Вы извините, мы на минуточку, – сказали они нам. – Мы здесь сейчас не живём, а живём вместе с мамой, в палатке. Она боится землетрясения, и мы не хотим её оставлять одну.

– Да, но послушайте... – начал я.

– Нет, нет! – перебила Наташа. – Пусть вас ничто не смущает! Вот здесь маринованные грибы, а здесь консервированные фрукты. Это мы сами делали.

– Но, может быть, мы...

Нам не давали и слова вставить.

– Всё в порядке! – сказал Лёша. – Мы уже уходим, не станем вам больше мешать. Возьмём только гитару. А вот вам на всякий случай наши рабочие телефоны, если что-нибудь будет нужно – звоните. Только одна просьба: на первом этаже живёт хорошая женщина Наталья Ивановна. Знаете, она очень боится толчков. Так вот если она постучит по трубам парового отопления, сбегайте вниз, побудьте с ней...

– Понимаем, понимаем! – сказал я. – Непременно! Всё сделаем.

Через минуту шумной компании как не бывало. Откровенно говоря, нам стало грустно оттого, что они ушли. Мы сидели одни в полном молчании, листая самые интересные журналы и книги, к которым потеряли интерес. Не хотелось ни о чём говорить. Идти куда-нибудь было уже поздно.

Через некоторое время раздался звонок.

Мы помчались бегом к входной двери. На пороге стояли совсем молодой мужчина и совсем молодая женщина.

– Здравствуйте, – сказали они. – Мы живём ниже этажом, в квартире девять. Нас зовут Эля и Глеб. Мы слышали, что вы из Ленинграда. Пойдёмте к нам?

– А ничего, что мы... – начали, было, мы.

– Пойдёмте, пойдёмте! К нам пришли гости, у нас есть музыка и много вкусных вещей. Отказываться было бесполезно. Я закрыл дверь, а ключик положил себе в карман.

Через полчаса мы со всеми перезнакомились, стали разговаривать и даже петь. Глеб оказался геологом и альпинистом. Он очень интересно рассказывал о восхождениях и показал нам золотую медаль. Но компания, как мы поняли, была постоянная, и у них были свои разговоры. Мы и не заметили, как наступила ночь. Гости стали понемногу расходиться. Мы тоже встали, но Эля с Глебом воскликнули:

– А вы куда, ребята?

– Мы к себе... то есть наверх... мы в квартиру двенадцать.

– Нет уж, – сказал Глеб, – оставайтесь у нас.

– Так ведь у нас же... – начал я и показал ключик.

– Нет, нет, – перебила Эля. – Я вам уже постелила. Что же это вы будете там одни...

Мы спали с комфортом в отдельной комнате. Наутро я вскочил с постели и понял, что хозяев нет дома.

– Эй, подъём! – закричал я. – Нас опять бросили!

На столе лежала записка, а на записке – французский ключ.

«Ребята, – писали нам Эля и Глеб, – еда в холодильнике. Мы ушли на работу. Если что-нибудь понадобится, вот наши рабочие телефоны. Итак, до вечера! Да, одна просьба: в квартире номер три живёт хорошая женщина Наталья Ивановна. Она очень боится даже слабых толчков...».

Дальше шла просьба не оставлять одну Наталью Ивановну, если она постучит по трубе.

Теперь у нас было два ключа. Один я положил в левый карман, другой – в правый, чтобы не перепутать. Мы приняли душ, потому что в Ташкенте уже с утра жарко. Потом мы сели пить чай. Едва мы сели пить чай, как вдруг в углу комнаты раздались три звонких удара.

Мы вздрогнули, нам показалось, что дом покачнулся, и в чём были, ринулись к входной двери, а потом – через десять ступенек – вниз!

Нам открыла приятная пожилая женщина, она улыбалась, как ни в чём не бывало, и всё повторяла:

– Прошу, прошу...

– А что, разве тряхнуло? – спросил я с тревогой.

– Да не-ет, голубчики, – рассмеялась Наталья Ивановна. – Сегодня, слава богу, спокойно.

Я постучала потому, что у меня уже завтрак готов.

И она вынесла из кухни целое блюдо горячих лепёшек.

– Ну, как вам Ташкент? – спрашивала Наталья Ивановна, когда мы сидели и пили чай с душистыми лепёшками. – Не страшно?

– Да что вы! – сказали мы. – Совсем нет!

– Ну-с, так, – сказала Наталья Ивановна, когда мы позавтракали. – Я сейчас уйду, а вы, значит... Только замок у меня капризный, к нему надо привыкнуть...

И протянула нам... понимаете что?.. Ну вот. Ключ.

Через несколько дней нам предложили номер в гостинице, но мы остались жить в доме на Высоковольтной, в квартире Наташи.

Восток

В Бухаре, в старом городе, когда садилось солнце, к голубому минарету подошла смуглая девочка-подросток в шелковом платье и прислонилась к нему, как к дверному косяку, скрестив одну ногу с другой. Это был минарет ее улицы, небольшая мозаичная колонна, покрытая небесного цвета глазурью. А девочка была чернбровая, с лицом цвета зрелого персика. Она вышла посмотреть, что за пределами ее улицы делается. К минарету. Но не дальше. А тут еще скорый закат, позолотивший глиняные дувалы...

Нет, на Востоке ничего более прекрасного я не видел.

Страсть

– У нас, в селе Богородском, резьба по дереву – дело семейное, по наследству переходит. Знаменитые есть фамилии – Чушкины, Стуловы, Барашковы, Бурденковы. Я тоже свое дело от отца перенял. Был он, как у нас говорят, „кузнечником“ – „кузнецов“ резал, самую знаменитую нашу игрушку. Он фигуры, а я, пацан, из липовой планки нарезал молоточки. Вот так, видите... А вы сами попробуйте, да не прямо ведите, а слегка наискосок... во-от...

Ножи у нас особые, богородские, с ними осторожно надо – и себя беречь и нож беречь. Ведь он, этот нож, если на липу направлен, другого материала не терпит – им листа бумаги разрезать нельзя, нитку жене не даю перерезать – иначе снова надо направлять, вот какие ножи.

Ну что вам о себе рассказать?.. В двадцать седьмом году закончил нашу местную профтехшколу, дипломной работой, помню, был „Генерал Топтыгин“ – работу похвалили, она пошла в серию, а оригинал где-то в музее. Сделал много работ: и Чапаева в тачанке, и птицу-тройку, и конька-горбунка, и трех богатырей. Да, все кони, кони. Люблю коней, особенно в движении. Все мои кони – буйные, искрометные, норовистые. Только один раз тощую клячу резал, так ведь ее каждый знает, под Дон Кихотом она – Росинант называется... В 1943 году меня и еще двух богородских резчиков даже с фронта отозвали, прямо с Орловско-Курской дуги. Вот какое внимание было к нашему искусству даже в такое тяжелое время.

Всю жизнь в нашем училище преподавал, а в свободное время вот здесь, у окна, резал. У нас почти у каждого резчика в доме маленькая мастерская – низкий стол, скамеечка, стамески, топор, чурбак для зарубания изделий. Богородскую игрушку режут на левом колене, локтем опираясь на правое. Утром встанешь часа в четыре, за грибами сходишь или на огороде повозишься, а самого, чувствуешь, в дом тянет, охота резать...

А вот это последняя моя работа – „Битва на Куликовом поле“, еще не законченная. Чего-то, мне думается, в ней не хватает, выражение лица у татарина какое-то не то, ведь конь на дыбы встал, да и пика русская под самым сердцем. А? Как вы думаете?.. Надо бы ее переделать...

Это – Заслуженный художник РСФСР Николай Иванович Максимов. Его конь с уланом с дарственной надписью до сих пор стоит у меня на столе.

У шлагбаума

Одно время, в начале писательского пути, сильно интриговала меня романтика государственной границы, которую я еще ни разу не пересекал. Командировка журнала, одобренная погранокругом, давала возможность постоять на наблюдательной вышке, пройтись по контрольно-следовой полосе, посетить комиссарский домик, где проходят приграничные переговоры. В тусклом свете сероватого дня – глаза в глаза с сопредельщиками – всё было странно, но более-менее понятно. Казалось, там, на своем берегу узкой пенистой речки они нас передразнивают, делая то же самое, что мы на своей заставе. Ночью же, когда в одиночестве выходил во тьму, меня охватывало сильное волнение. В небе совсем близко висело зарево чужого городка, пульсировали проблесковые огни, рдели красные диски на мачтах. Тихая, загадочная чужая жизнь, что протекала рядом, тревожила и манила. Казалось, нет никакой границы, это всё миражи, дьявольские выдумки. Иди и живи, где хочешь, никто тебе не мешает. Да-аа, только попробуй...

Помню, как меня поразил майор на пропускном погранпункте, в двух шагах от Норвегии. Рот его с плотным частоколом зубов не закрывался, а глаза не открывались – закинув голову, он смотрел на меня из-под белесых, низко опущенных век настороженным полувзглядом, как Вий. Я еще подумал: у шлагбаума нашего государства и должно стоять нечто страшное.

Глубинный народ

В плацкартном вагоне, в полутьме, старик за ужином жалуется соседям на бабу, что та дома пьет только чай.

– Я ей: вот горшок молока, теплого, из-под коровки!.. Не жалует. – Отворачивается. – Пей, пей, водянку наживешь...

– А ты куришь натошак, сигары свои делаешь ядовитые, – отвечает старуха, прихлебывая жидкий чай из домашней кружки. – Все цветы мне загубил...

Старик принял угощение соседа, от второй отказался.

– Я только первую пить умею. Вторая нейдет. Как-то приехал к брату в город, а он мне наливает рюмочку. Я говорю: налей-ка сразу, что мне приходится, в кружку и дело с концом.

Старуха все время расчесывает свои жидкие волосы, заплетает их в косички. Говорит проводнице:

– Ты бы, матушка, вечером не подметала, а то гостей выметешь.

Всё с собой у них, и строй, и лад. И весь жилой запах. Только кошки для полноты не хватает.

Ночью на полустанке сели муж и жена, в вагоне все уже спят, полумрак. Лишь за переборкой старушечий голос не унимается, что-то рассказывает. Новенькие сидят настороженно, будто ждут подвоха. Постели и чай не берут. Видно, что ошалели от перемены звуков, света и запахов. Да еще загодя настрашали друг друга опасностью жульничества и дороговизной железнодорожного сообщения. Он то и дело, подмечая, как другие спят на постели:

– Нюр, может, возьмешь?

Она только отмахивается, подозрительно поглядывает в мою сторону. Супруг уже освоился, проявляет активность.

– Нюр, закусывать будешь?

Поев хлеба с крутым яйцом, она ложится на голой боковой скамье, некрасиво скрестив ноги, так что обнажаются синие резиновые подвязки ниже колен. А он сидит. Видно, договорились, что спать будут только по очереди.

А старуха за переборкой монотонно рассказывает:

– На самолете оне полетели венчаться. Я отговаривала: Бог рассердится! Нет, улетели.

Глубинный народ. Говорят, на него вся наша надежда, чего-то он сохраняет.

Жажда

Остановка 10 минут, горстка серых домишек внизу, за ними у озера магазинчик – в окне горит свет. И вот от нашего поезда к нему побежали двое, сильно размахивая руками – один в белой рубахе. Бегут, бегут!.. Весь поезд собрался у окон глядеть на этот забег: успеют – не успеют? Вылетели оттуда, как будто там был пожар, в руках по бутылке. Ну!.. Ну же!.. Успели. Раздался общий вздох облегчения и в ту же секунду поезд тронулся. Какая, должно быть, это гадость – сартовальская, кемьская...

Прерванный полёт

Я спросил как-то у своего зятя Жилья: «– Скажи, а немецкий бауэр мог бы построить самолет?» – Мы проезжали красиво расчерченные, ухоженные поля южной Германии. Желтым пламенем, простираясь до горизонта, светилась необъятная плантация рапса. Широкую полосу пашни украшали сине-зеленые султаны латука. Лён, овес, капуста-брокколи, картофель были посеяны и высажены с превеликим почтением. «– А из чего? – после долгой паузы спросил Жиль». «– Из подручных материалов». – Жиль снова задумался, видимо, мысленно перебирая, что может оказаться у бауэра под рукой. Наконец, он сказал: «– Я думаю, что бауэру лучше заниматься землей, сельскохозяйственными культурами. Птицей, скотом. А самолет кто-нибудь другой построит». – «– Может быть, ты и прав, – сказал я. – Но у нас не все так считают. Потому что в разных местах России, то один крестьянин, то другой строит летательный аппарат. Сообщения об этих происшествиях время от времени появляются в районных газетах». – Жиль снова задумался. «– А зачем?» – *наконец, спросил он.* «– Объяснение, которое они чаще всего дают в суде, такое: в соседней деревне тещу пугнуть». – Помолчав, *Жиль сказал:* «– Ну, это другое дело». – Сказав так, он принял на себя чужую мужскую заботу. Вошел в положение, проявил солидарность. Своей озабоченности на этот счёт он не имел. (Вот и *на днях*, в женский праздник, он купил две охапки мимозы – одну для жены, другую для тещи.) И, разумеется, рассказом моим был впечатлен. Я и сам долго переживаю, когда встречаю газетный отчет об очередном воздушном происшествии и его виновнике. Поражает меня больше всего даже не сам полет, а неременная формулировка милицейского протокола: «...нарушая спокойствие граждан...». Как будто главная мечта русского народа – спокойствие. И ни слова о том, что он осуществил вековую мечту земляного невольника, русского пахаря – взлететь! И летать, как птица! Летать! Даже ценой падения.

Дача на Оредежи

Дача моей первой тещи и ее мужа, художника Валентина Ивановича Курдова, находилась на левом берегу реки Оредежи, между поселком Выра и деревней Грязно. С Киевского шоссе почти сразу за Домиком станционного смотрителя, где нынче музей, нужно было свернуть вправо, к Песчанке, и проселочная дорога, подходившая в одном месте к красноглинистому обрыву над Оредежью, приводила к кварталу дачных участков с незатейливым названием „поселок Новый“. Здесь, на краю поля, отгороженного чередой кем-то в давние времена посаженных елей, в конце пятидесятых годов по двенадцать казенных соток получили представители ленинградской научной и художественной элиты. Впрочем, может быть, и не только, потому что, кроме академиков Аничкова и Крепса да художников Курдова и Кострова, я не помню других известных имен.

Ни хозяйева дач, ни мы, приезжавшие погостить, не могли догадываться, что именно в эти годы где-то в фантастической дали, в отеле на берегу Женевского озера поселился бездомный русский человек, который и сейчас, в свои шестьдесят с лишним лет может воспроизвести по памяти каждый взгорок и поворот дороги, по которой мы ходим, каждый изгиб здешней реки, в которой купаемся. „Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы вырастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой...“ („Машенька“).

Из сотен прекрасных страниц, печальных и нежных, посвященных этим местам, которые Набоков любил больше всего на свете, мы тогда не читали ни одной. Я впервые прочитал первый набоковский текст – роман „Дар“ – где-то в конце семидесятых по доставшемуся мне „слепому“ машинописному экземпляру. Но это литературное имя мы знали из радиопередач „Голоса Америки“ и „Свобода“, которые здесь, в сельской местности, удавалось принимать почти без помех. „– Володька, – спросил меня как-то хозяин дачи, – как думаешь, будут у нас печатать Набокова на нашем веку? – И сам себе ответил: – Наверяд ли“.

Выра на Киевском шоссе славилась, Домом станционного смотрителя“, из которого сделали экскурсионный объект. Село Рождествено знаменитым колхозом имени Ленина. Батово птицеоткормочной фабрикой, загадившей и провонявшей всю округу с вековым парком, оставшимся ещё от усадьбы Рылеева. Имя же писателя Набокова здесь, как и по всей России, не упоминалось. На берегу реки Оредеж, где прежде располагались родовые имения Набоковых – Батово и Вырская мыза – после их гибели от пожаров (в 1924 и в 1944 годах) постепенно вырос поселок на полторы тысячи жителей. Со всей, как говорится, инфраструктурой. Сохранился лишь двухэтажный дом на рождественском взорье возле шоссе. Сначала он превратился в ветеринарный техникум, а после войны в школу.

Лишь в середине восьмидесятых сбылись слова Веры Евсеевны Набоковой: „...Россия будет прямо изнывать по тебе, – когда слишком поздно спохватится...“

Но мы и спохватываемся как-то по-своему. Надо же, во времена ненависти и небрежения, в огневые военные годы деревянный дом семейства Рукавишниковых-Набоковых в селе Рождествено „на крутом муравчатом холму“ выжил, а как только признали и отдали музею, – тут же сгорел. Задушили в объятиях. О причинах пожара предпочитают не говорить. Спасли половину.

Сейчас дом восстановлен, но пока лишь снаружи. Внутри вот уже четверть века продолжают реставрационные работы. Мебель Набоковых, собранная по домам, покуда заперта в одном помещении. Там теперь располагается Государственный историко-литературный и мемориальный музей. Набокову посвящена лишь одна комната. В других помещениях – история села Рождествено, быт дворянской усадьбы, жизнь крестьян.

На даче мы бывали редко. Прекрасную Оредеж и ее берега я старался не пускать в сердце, чтобы не привыкать. Полюбил я их позже, как обетованную землю Набокова, с наслаждением узнавая по его описаниям знакомые мне места, всю их топографию.

Грузия цвета хаки

Осенний Тбилиси достался мне по обыкновенной военкоматской повестке, которые мы, резервисты, так не любим, поскольку они означают казарму или летние лагеря, выцветшие «хабэ», воинский распорядок и ритуалы, а в целом – потерю времени и своего основного дела. Здесь всё было наоборот: можно было жить в гостинице, писать, сколько душе угодно, носить джинсы и рубашки с короткими рукавами и никому не отдавать честь. Эту прелестную форму «военных сборов» добыл писательский союз в Министерстве обороны для своих военнообязанных, и когда меня спросили, в какой военной газете я хочу послужить и в какое время, я принял это за шутку и так же шутя ответил: «– Канэшно, в Грузии! В августе или сентябре».

Но военные шутить не любят, и вот я с воинским предписанием в редакции газеты Закавказского военного округа, за рабочим столом «отдела культуры», за которым, как сказали мне с гордостью в первый же день, недавно трудился в таком же качестве Евтушенко.

В редакционном газике едем по крутым булыжным улицам, спускаемся вниз. Два офицера из газеты доверительно показывают городские достопримечательности: вот гарнизонная комендатура... там военторг... вот здесь мы наше «Ленинское знамя» печатаем... а тут бывает разливное пиво...

Я вздыхаю.

– А может, подъедем к Метехскому замку?.. Ненадолго...

Они переглядываются

– Вообще-то мы в форме...

Все-таки подъезжаем. Офицеры чувствуют себя неуютно на этом сугубо «гражданском» объекте, тем более что по каменным плитам навстречу нам движется фигура в черной рясе. Бледнолицый юноша со смоляной бородой и живыми умными глазами приветливо обращается к нам:

– Здравствуйте, товарищи офицеры! Милости прошу в Божью обитель, приобщиться к нашим православным святыням. А если вам нужен священник, то я за ним схожу.

Офицеры хмурятся.

– Да нет, у нас тут гость из Ленинграда...

Глаза юноши искрятся весельем.

– О, из Ленинграда!.. – И, оглядев меня, снова обращается к офицерам. – Скажите, а как идет служба у полковника Диденко? Он еще не стал генералом?

– Нет, не стал, – отвечает старший по званию. – А вы его знаете?

– Знаю. Передайте ему привет.

– А как сказать, от кого?

– От рядового Мамулашвили. – Глаза его сияют весельем. – Скажите, я за него молюсь.

– А военная гостиница – там, – сказали мне мои сопровождающие с облегчением, когда я сказал, что хочу пройтись.

В военную гостиницу надо было идти вдоль берега Куры, через легендарный Майдан, кривыми и тесными улицами мимо облупленных двухэтажных домов с резными деревянными галереями, заселенных шумной, многодетной и пахнущей затхлостью нищетой. Мимо всех этих лавок, пекарен, духанов, мастерских, цирюлен с их характерными запахами и звуками, когда кажется, что время движется вспять, и ты оказался в дореволюционном Тифлисе.

Другой же берег Куры состоял из сплошной отвесной скалы с какими-то резными террасами, таинственными окошками, нависшими над водой, и воскрешал в памяти иной вариант тифлисской легенды – романтизм и аффектированное достоинство. Казалось, там живут – в ореоле чести – люди в черных черкесках с газырями и кинжалами на боку и волоокские красавицы в длинных платьях, недоступные, как эта скала.

Мираж исчезал бесследно, едва ты входил узкими воротами на территорию окружной гостиницы, живущей по строго означенному воинскому регламенту, вывешенному в вестибюле. В последние дни лета её лихорадило. Юные лейтенанты, приехавшие поездами и прилетевшие самолетами, требовали отдельных номеров. А позади них возле новых тугих чемоданов, скромно и тихо стояли их юные жены – вчерашние студентки, медсёстры, учительницы. Посоветавшись, они соглашались устраиваться врозь.

Гостиница изнемогала, как и весь город, от августовского душного зноя, и, чтобы сбить его, офицеры, обнаженные по пояс, поливали раскаленный асфальт внутреннего двора водой из шланга. Вечером в тренировочных брюках и майках, потные и распаренные, они рассаживались в тесной комнате перед телевизором. В эти дни шла премьера «Семнадцати мгновений весны», и в мой номер доносилась музыка Таривердиева. Под нее хорошо было заняться своим делом.

Пир

Стол наш уставлен тарелками с маринованными овощами, жареными баклажанами, фасолью в ореховом соусе, овечьим сыром, лавашом, зеленью. Всё пряно благоухает, радует глаз сочетанием цветов и оттенков, возбуждает жажду, которую мы тут же утоляем легким холодным вином. Из десятка бутылок мы пока выпили две. А черноусый расторопный официант зачем-то подносит другие тарелки с дымящимися ароматными кушаньями. Не успеешь попробовать – он тащит следующую, и первую не убирает, а ставит очередное блюдо прямо на нее. А через пять минут (или мне кажется?) снова что-то несет и наращивает пирамиду тарелок. Теперь даже не надо наклоняться к столу – душистая бастурма сама лезет в рот. А внизу-то, ах ты, господи, сколько погубленного добра – сациви, купаты... Это я по своей ленинградской привычке, вместо того чтобы есть, пью и болтаю, не торопясь с закуской, чтобы подольше хватило.

– Куда он спешит? – говорю своему сотрапезнику.

– Ты хочешь еще сациви? Я скажу...

Я думал, он шутит, а официант, мерзавец, уже у стола, с трудом отогнал. Еды и так на целый взвод, а за столом нас всего двое. С хозяином стола мы едва знакомы, это писатель Гурам Панджикидзе, автор нашумевшего романа «Камень чистой воды», напечатанного в «Дружбе народов». Я всего-то позвонил накануне, передал привет от писателя, с которым он учился на Высших литературных курсах, а он приехал за мной в гостиницу на своей «Волге» и повез вдоль Куры, вверх по течению, в Боржомское ущелье. Романа я не читал, но он уже был мне надписан и дождался в машине.

Объевшиеся и пьяные, в крошечной тьме, разрываемой лишь иногда блуждающими лучами автомобилей, мы как-то выбирались из прохладного ущелья Боржоми. Я вообще не понимаю, как Гурам вел машину, минуя встречные, вписываясь в повороты и даже кого-то обгоняя. Самое интересное, что по пути мы еще где-то останавливались и «добавляли». Я даже не врубался – чего к чему. Смутно помню пирамиду тарелок, батарею бутылок... Или это за первым столом?.. Нет, за вторым тоже. А закончили вечер мы у Гурама дома, где жена его, приветливая и счастливая от нашего появления, приготовила нам крепкий кофе с ликером. Потом еще он отвозил меня в гостиницу... о, боже!..

Едва протрезвев на другое утро, я принялся за роман. Смелость его заключалась в том, что он гневно возвещал о богатстве несправедном, о «цеховиках» и «теневицах» республики. Им бросил вызов скромный интеллигент, тот самый «камень чистой воды», тихий герой-несчастяк. Он был одновременно человеком совестливым и широким, любил посидеть в кафе и пить коньяк, угощая друзей. Гнев его был столь же яростный, сколь и справедливый: он ненавидел такие порядки, когда одни могут угощать друзей, а другие не могут.

А кто это любит?

Палата

Как-то весной в Волхове во время командировки свалился с жестоким радикулитом. Увезли из гостиницы в местную больницу.

Палата на пятерых. На меня нацелены жерла ночных посуды.

Обсуждают проблемы: много ли бегемот губит посевов, куда идет мясо кита, за что сослал Меншикова. Рассказывают друг другу фокусы.

Но чаще всего разговоры о справедливости, которой, как выясняется, нет. Конец всегда один: сами и виноваты. Ругают раздвоенных, нечистых, а потом спохватываются: сами такие же! Федя с хлебозавода муку ворует, жена носит пирожки к вокзалу. Дед Филиппов сетки плетет, а знает, что через две недели порвутся, потому что нитки гнилые.

Стекло на двери завешено газетой, заголовки осточертели: „Годы крутого подъема“, „Времени – в обрез“, „Вижу землю!“, «Третий штурм недр», „Заглянем на АТИ“. Я бы снял, да мне не встать.

* * *

Дед Филиппов встал утром и пошел в нарсуд: интересно все же. Там его и хватил обморок. Никогда ничем не болел, не пил, не курил, жил осторожно, без юмора и без риска. Теперь ему страшно, что умрет. Каждый раз ревниво допрашивает жену, кто что сказал о его болезни.

– А Марии написала? А Анны?

Жена успокаивает:

– Доктор говорит, скоро поправишься.

– Не зна-аю...

Дед стонет, стонет, да вдруг как зевнет во всю харю, добродушно и беззаботно.

Пришла племянница-парикмахерша, побрила его, он попросил, чтобы и мне подправила бороду.

* * *

Федя прожил жизнь темную и романтическую. Резал себе горло из-за женщины. Потом жил полгода в лесу, питаясь травами, оброс, опустился. Теперь работает на хлебозаводе авто-слесарем. Переживает, что здесь понапрасну уходит время.

– А дома что? – спросил я.

– А вот когда чувствуешь, что творчески отнесся к труду, что двигаешь дело, вот и не зря живешь.

Но это явно для моего блокнота. Вмешался Петр:

– А я больше всего люблю пойти в сад, посмотреть яблони, посмотреть кружовник.

– Вот и я! – не удержался Федя. – Еще люблю на велосипеде по аэродрому, летишь, как на крыльях!

* * *

Петр Пашков ест с особой быстротой, наблюдательностью и ловкостью, как человек, привыкший к многолюдному столу.

Он из военных, был богатырем-командиром. Удивляется своей неподвижности. Служил в Пушкине. Крутил „солнце“, поднимал штангу, кидал копьё. Во время войны был командиром

разведроты. Рассказывал, как застрелил пулеметчиков. О крови говорит спокойно. Одинаково: и о том, как другу оторвало снарядом голову, и о том, как резал кабана.

* * *

Доктор Лезников как-то подсел ко мне на кровать, разговорился. В Минске закончил этнографо-лингвистический факультет, был учителем. Дернуло его сказать в 34-м, что коллективизация это революция для деревни. На всех собраниях стали критиковать: у него „теория двух революций“, уклон. Тогда бросил все, начал сначала, пошел в медицину.

– Ну, а завтра, – сказал он, – начинайте и вы заново. Учитесь ходить.

Утром на Волхове рвали лед. Я встал, подсунул подмышки костыли и заковылял по коридору.

Праздник, который...

В Чупе в полвосьмого в поезд ввалилась молодая компания человек в десять. И сразу – в вагон-ресторан. Парни в одинаковых черных пальто с воротником шалью, происхождением, видимо, из одного магазина, все без шарфов. Девицы – кто в чем. Двое выделялись городскими интеллигентными лицами. Он в очках, светлый пушок на подбородке. На нем меховая тужурка и резиновые сапоги. Она в телогрейке и брюках, красивая, долгоногая. Из-под платка на лоб выбиваются пряди. Два колечка на пальцах, одно обручальное.

Поезд двинулся, а им хоть бы что: расселись за столики, весело набросились на колбасу и сардельки, кто пил вино, кто пиво. И вдруг крикнули: „горько!“ Парень и девушка расцеловались.

В это время в ресторан в сопровождении флотского офицера вошла нарядная дама – в брюках, мохеровой кофточке, с прической. Невеста окинула ее оценивающим, чисто женским взглядом. Ревниво оглядывала мужчин и женщин, сидящих за столиками. По всему было видно, что соскучилась по яркому свету, красивой посуде – не хочется ей уходить. Но приближалась следующая станция и они встали.

Я вышел за ними в тамбур и выяснил у одного парня, что все они со слюдяного рудника в поселке Карельском. Наш медленный поезд здесь описывает дугу, так что далеко они не уехали. Да, там, на руднике, и клуб, и столовая, но всё надоело. А в поезде – ресторан, сервировка, публика – все-таки развлечение. Так что по вечерам в полвосьмого они здесь. У кого день рождения, у кого именины. Или просто пива попить. А вот эти двое, молодожены – геологи, после Горного по распределению.

Пока парень вводил меня в обстановку, все хохотали, вышучивая кого-то, кто оттягивает женитьбу, потому что свадьба будет тринадцатой. А потом они растворились в кромешной тьме, и я даже голоса их перестал слышать из-за стука колес. Почему-то мне было жаль, что больше их не увижу. Весь-то праздник длился пятнадцать минут.

Ахалтекинцы

Вышли из гостиницы в кромешную тьму, поглотившую все пространство города, кроме желтых пятен вокруг фонарей. Пока ждали автобуса, сплошная чернота вдруг треснула ломаной линией на всю протяженность проспекта. Верхняя часть над нею стала быстро окрашиваться густым ультрамарином. Когда ехали, небо неудержимо светлело, вершины горной гряды обнаруживали рельеф, хотя основание её еще долго лежало во тьме, пронзенной редкими электрическими огнями.

По полю ипподрома мчались какие-то отрешенные от мира всадники, бег лошадей в утреннем сумраке с припавшими к ним седоками казался первобытным обрядом неясного нам назначения, однако приближавшим их с каждым кругом к какой-то неведомой цели. Силуэты ахалтекинцев, текуче-пластично повторявших одну и ту же группу движений, стелились над полем, почти не касаясь его, и неверный пока еще утренний свет только усиливал эту иллюзию полета.

Ну, а потом окончательно рассвело, всадники спешили, оказавшись заурядными туркменскими пареньками. Тренер стал рассказывать о достижениях и проблемах, и ахалтекинцы, надменно грациозные, нервные, аристократично утонченные, всем своим видом показывали, что не имеют к этой прозе жизни ни малейшего отношения.

Субординация

В Киргизии, в поселковом Доме приезжих компания местных ученых-животноводов, находясь в командировке, варила и ела баранину. Все сидели вокруг стола. Доктор наук брал из казана мясную кость, немного отъедал от нее и передавал кандидату. Кандидат наук точно так же, откусывал своё и передавал младшему научному сотруднику. У сотрудника эстафету принимал ассистент. Так мясо ходило по кругу, соблюдая субординацию, ни разу не заблудившись. Сбой произошел лишь один раз – это когда в круг пригласили меня, журналиста из центра. Доктор наук достал кость из казана, слегка надкусил и передал прямо мне. А я уж ее из рук не выпускал.

Плывем по реке

Ух, какой красавец стоит на далеком рейде в окружении всякой водоплавающей мелочи! Неужели мы к нему идем? Так и есть. Катерок Волжского пароходства доставляет меня прямо под могучий бок теплохода под названием «Волго-Дон».

А он только нас, оказывается, и дожидался. Тотчас за кормой вскипает вода, режут двигатели. Теплоход весь дрожит, напрягаясь и пробуя силы перед дальней дорогой. Там внизу, под стальными листами, что-то бубукает, ухает, а прислушаешься – тщательно выговаривает, будто выстукивает со вздохом: «Пятеро-там, пятеро-тут, пятеро-там, пятеро-тут...» Всё быстрее, быстрее, всё ближе, потом всё сливается в общем ликовании: «Пятеро-пятеро-пятеро-пятеро!..» Слава тебе, господи, соединились, режут.

На корме, под навесом, вместе с матросами смотрю, как разворачивается и отдаляется берег. Город Горький проплывает перед нами в разрезе – пассажирская пристань, набережная, нижегородский кремль, откос со знаменитой лестницей, памятник Чкалову, пляж, трамплин...

На корме пахнет вяленой рыбой и свежевыстиранными тельняшками. Я и не заметил, как подошел капитан.

– Ну вот, познакомимся. Александр Иванович. У нас тут все Ивановичи. Первый штурман – Геннадий Иванович. Второй – Арсентий Иванович. Только вот третий маленько подкачал – Павлом Сергеичем назвался.

И он повел меня наверх, в рубку.

Рубка – просторное, застекленное со всех сторон помещение. Каких только приборов здесь нет! Отсюда видно далеко-далеко. Внизу – длинное, наглухо закупоренное тело теплохода все как на ладони. Второй штурман объясняет что-то двум практикантам и передает одному из них рукоятки управления.

– Ну вот, знакомьтесь, располагайтесь. Каюта вам выделена. Лазайте всюду, где захотите. Что непонятно будет – спросите. Обо всем еще наговоримся – путь до Ленинграда большой. Заскучаете у нас с непривычки...

Чего это я заскучаю? Какая тут может быть скука? Сидишь, как в клубе кинопутешественников, а перед тобою разворачивается бесконечное живое кино под названием «Великая русская река Волга». Эх, благодать!..

День светлый и ясный, река раскинулась широко. По одну сторону тянутся песчаные плесы, вылизанные водой до того, что они стали похожи на глянцевую бумагу, по другую – нависла береговая крутизна. Над рекой на травяной пушистой подстилке стоит чистая молодая дубрава. Никогда такой красивой дубравы не видел! Отражение ее покачивается, извивается в кривом зеркале волны.

А из-за поворота выплывает маленькое приземистое село.

На безлюдной пристани сидит женщина. Чего она сидит на самом краю? Утопиться, что ли, хочет?.. Да нет, о чем-то мечтает... Старуха ходит в своем огороде, сбрасывает с обрыва что-то ненужное, корешки и ботву... Мальчик, поглядывая на теплоход, катит по самому краю обрыва на велосипеде. Голова его на одном уровне с рубкой, и он старается заглянуть сюда, подсмотреть, что тут у нас такое. Ему, наверное, изо всех сил хочется к нам. А мне хочется в его село. Он, должно быть, окает, как наш капитан.

– Вот такая у нас работа. Пока плаваем, все перемены в природе видим – и весну, и лето, и осень, и как птицы прилетают, и как улетают, и цветение, и листопад, и первый снег...

От берега невозможно глаз отвести. Кажется, ничего там и не происходит, а все смотришь и смотришь. Кусты. Три стога сена. Гнезда ласточек в песчаном откосе. Полузатопленный остров.

Тихо отступает от борта теплохода небольшая волна, катится к берегу. И еще она не навалилась на него, а уже заволновались, распрямились поникшие было травы...

Снова пустынный берег, поросший лиственным лесом. У самой воды одинокая палатка. Две фигуры в купальных костюмах стоят и смотрят на проплывающий теплоход.

Вот это славно... Тоже так хочу. Только с кем?.. Всюду хочу, где меня нет...

Ночь. Россыпь береговых огней раскинулась по всему руслу реки, и кажется невозможным отыскать в этой иллюминации огни судового хода. Но нет – огни на месте: за бортом проплывает красный фонарик буй, а вон уже видно белый.

Капитан рядом с рулевым Мишей смотрит в бинокль, потом отходит от окна и склоняется над лоцманской картой. Капитанской вахте положено быть ночью – в самое трудное и опасное для судовождения время. Но и в другие часы я вижу Александра Ивановича на мостике. А что поделаешь, такая профессия. Я читал в Уставе обязанности капитана. Там первый пункт под литерой «а», а последний под «ф» – чуть ли не целый алфавит!

Берега в кромешной тьме – ни одного даже самого слабого огонька не видно. Карандаш капитана скользит по карте вдоль узкой голубой горловины, рядом с надписью «затопленный лес». После создания водохранилищ под водой чего только нет: и лес, и села, и русла рек, и даже целые города. Однажды я увидел, что из воды торчит колокольня с крестом на шпиле. Значит, здесь было село, которое с рождением водохранилища ушло под воду. Под нами целая Атлантида, ушедшая жизнь.

Капитан то и дело что-то подсказывает рулевому, а иногда подходит и легонько подталкивает рукоятку управления.

И вдруг – все впереди заволакивается белой пеленой. Ну как будто кто-то перед нами вешает мокрую простыню. Рулевой, пытаясь разглядеть обстановку, открывает окно. Капитан на короткий миг включает прожектор. В снопе света видно, как закручиваются, плывут над рекой клубы тумана.

– Ну, – говорит Александр Иванович, – кажется, попали.

Он сбавляет скорость и включает локатор. Рулевой дает несколько протяжных гудков.

Я приникаю к окну – впереди хоть глаз выколи. Капитан говорит в переговорную трубку:

– Вниманию судов, идущих сверху. «Волго-Дон» прошел триста сороковой буй. Движемся в тумане, видимость сто метров. Будьте осторожны.

Из громкоговорителя откликается голос:

– Понял, Александр Иванович, вас понял...

– Иван Павлович? Доброго здоровья! Далеко вы от нас?

– Километрах в двух.

– Тоже в тумане идете?

– Да нет, вроде чисто.

– А-а, значит, у нас тут такая полоса...

Встреча знакомых капитанов на водной дороге, как я уже убедился, дело обычное. Особенно для таких «старичков», как наш Александр Иванович, ведь он бороздит воду уже восемнадцать лет.

– Куда идете?

– В Ленинград, с угольком. А вы?

– Мы в Куйбышев из Петрозаводска. Лес везем. Комары заели!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.